

Протоиерей  
Андрей Ткачев

*Беглец  
от  
мира*



Протоиерей  
Андрей Ткачев

*Беглец  
от  
мира*

Издание второе



*Издательство  
Сретенского монастыря  
Москва, 2015*

УДК 821.09  
ББК 83.3  
Т48

*Рекомендовано к публикации  
Издательским советом  
Русской Православной Церкви*  
ИС Р 15-422-1868

**Протоиерей Андрей Ткачев**

Т48 Беглец от мира. — 2-е изд. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. — 304 с., ил.

**ISBN 978-5-7533-0986-0**

Автор бесстрашен в подходе к избираемым темам, порой, казалось бы, табуированным. О. Андрей никого не запрещает, но — учит осмыслить, понять, без лживой правильности, без фарисейской оглядки на авторитеты. Прочитав его очерки о мыслителях, писателях, художниках, поэтах, хочется перечитать помянутых им, а после снова вчитаться в его прекрасные тексты. Которые волнуют. Которые учат. Которые приближают к Творцу.

УДК 821.09  
ББК 83.3

**ISBN 978-5-7533-0986-0**

© Сретенский монастырь, 2015  
© Ткачев А., протоиерей, 2015

# СОКРОВИЩА СТАРОЙ ЕВРОПЫ



**В**Ы СЛЫШАЛИ, что Данте был в аду?  
И жив остался...

Не могу поверить...

— А Фауст душу дьяволу продал!

— Какой кошмар!

Зато мсье Онегин

Не торговал душой,

Чертей не полошил,

Но лишь сумел не угадать свой жребий,

И вот итог: трагедия страшней,

Чем выдумки и Гёте, и тосканца...

Данте, Гёте и Сервантес медленно, но неуклонно превращаются в динозавров. Приходит время, когда мир египетских мумий становится понятней и милее любознательному европейцу, чем мир собственных великих

предков. Среди голосов, взывающих к нам из прошлых столетий, какие еще способен расслышать читатель XXI века?

Великие предки, обчитавшиеся рыцарскими романами, могли быть смешны. Они могли безумствовать, заключая договоры с темной силой. Они могли слишком много брать на себя, помещая в ад современников, приписывая себе общение с небожителями...

Но они жили в мире, в котором слова «Бог», «покаяние», «благодать» были наполнены конкретным смыслом. Христианский мир держал их в своих объятиях, и даже если они не обнимали его в ответ, а вырывались из объятий, то и тогда оставались детьми этого мира — сложного, хитросплетенного, основанного на Евангелии, хотя грешить не переставшего.

Но ныне, ныне... Сняв с шеи крест и разучившись понимать катехизис, человек неизбежно выпадает из смыслового поля той культуры, которая должна быть ему родной и по сути, и по имени. Поэтому содержимое египетских пирамид будет человеку без нательного креста и катехизиса интересней и про-

рочества майя покажутся ему достойными вероятия.

Не нужно уже спускаться в ад, земную жизнь пройдя до половины. Напротив, рискуя не дотянуть до благословенных тридцати пяти, европеец может много лет прожить, например, в наркотическом аду, созерцая стенающие тени современников. Если Бог не нужен и нет молитвы, если в храме ты не более чем турист, то ад поспешно вступает в свои права и дает знать о себе не запахом серы, но тоской и чувством бессмыслицы. Так Данте в опаленном плаще становится и не нужен, и непонятен со всей своей эрудицией, страстными обличениями и философскими обобщениями.

Та же ситуация, если не хуже, с Гёте и его Фаустом. Заложить душу? Это уже не проблема. И целью заклада может стать уже не постижение сути бытия, а банальное желание заработать денег ради выплаты кредита.

Закрываю глаза и вижу объявление в газете: «Продается душа. Хорошая, симпатичная. Цена выгодная. Владелец души, в силу атеистического воспитания, имеет некоторые сомнения в ее (души) существовании. Однако

на твердость сделки это не влияет». И номера контактных телефонов.

Я даже могу представить, как inferнальный покупатель, одетый в черное, похожий на Де Ниро из «Сердца Ангела», приходит по указанному адресу и встречается с продавцом. Продавец — не высушенный над книгами магистр юриспруденции и богословия, но молодой мужичок, работающий в баре, так и не вышедший из детства, слушающий рок и бродящий среди хаоса своей квартиры в трусах и с бутылкой пива. «Кто там?» — спрашивает он и слышит в ответ: «Я по объявлению». Покупатель входит в дом, с трудом находит место, чтобы сесть, и разговор начинается. Они перебрасываются парой дежурных фраз, которые не стоит выдумывать по причине их малоценности. А в конце посетитель произносит слова, никак не возможные у Гёте, но совершенно возможные у нас и оттого приобретающие характер приговора.

Гость говорит: «Глупец!» (Да-да, так и говорит, пока без злого хохота и не обнажая клыков.) «Глупец, тебе нечего продавать. Твоя несчастная душонка давно ничего не стоит. Она и так уже моя. Ты продавал ее всю жизнь до

этого момента. Ты продавал ее по частям, хотя душа и не делится, чего тебе, впрочем, не понять. Я давно владею тобой, твоими мыслями, желаниями; я верчу тобой, как связкой ключей на пальце. Разве ты написал бы это безумное объявление, если б я не имел доступа к твоим примитивным мыслям, внутри которых даже мне скучно?»

Не хочу развивать этот воображаемый диалог. Я дарю эту идею кинематографистам и лишь подчеркиваю вывод: сюжет Гёте, погруженный в современность, сильно меняется. Меняется из-за качественной перемены, произошедшей в человеке. Не в лучшую сторону эти перемены, ой не в лучшую.

А Дон Кихот, где он? Где в нашем мире сей антипод Гамлета, как звал его Тургенев? Где эта поэтическая душа, желающая надеть доспехи и сесть на коня не ради захвата нефтяных скважин и торжества демократии, а ради утирания невинных слез и усмирения злодеев? Где этот чудака-идеалист, смешной и трогательный, но великий посреди самой своей наивности? Я не вижу его. Он убит стрелами позитивной философии. Он расчленен газетными насмешками. Он закопан



в землю лопатой практического смысла, и на его могиле нет креста. В нее вбит осиновый кол мелкой выгоды и материализма. Плачь, Санчо. Такого хозяина у тебя уже никогда не будет, и если даже ты станешь губернатором небольшого острова, тоска съест тебя. Твой единственный выход — на могиле рыцаря надеть его доспехи и, пришпорив инога Росинанта, отправиться туда, где есть беда и где ждут храброго заступника.



# ДАНТЕ СЕГОДНЯ



**Е**СЛИ бы Данте жил сегодня, написал бы он «Божественную комедию»? Хороший вопрос. Думаю, вряд ли. Просто эта книга рисковала бы остаться без читателя: пишется вовсе не то, что ты хочешь или можешь написать, а то, что могут прочесть и понять.

Читатель всегда успешно обойдется без писателя. Не будет этого — будет другой. Что-нибудь прочитаем. Зато писатель без читателя не обойдется. И дело не в том, что писатель заранее ставит себя на суд обывателя, знакомого с радостью печатного слова. Дело в том, что писатель не столько творит, сколько ловит порхающие в воздухе идеи. Он ловит их, словно бабочек, и помещает на писчую

бумагу, как в специальный альбом. Что порхает, то со временем и замрет распластавши крылья. А что не порхает, того не поймаешь.

\* \* \*

Понюхайте ветер. Откуда он веет и что с собой приносит? Купите прибор, проверяющий воздух на наличие высоких идей, если вы знаете, где этот прибор продается. Чувствуете? В воздухе не машут цветастыми крыльями грандиозные идеи. И мир не целостен. В сознании современника он фрагментарен, раздроблен. Он скорее конструктор «Lego», нежели средневековый собор. И значит, современный опус, родись он, не охватит собою небесное, земное и преисподнее, а только срисует один из поворотов одного из коридоров то ли Ада, то ли Чистилища.

Что бы, следовательно, делал Данте? Во-первых, сменил бы дресс-код. Как проигравший боксер — перчатки, он повесил бы на гвоздь свой лавровый венок, а пахнущую серой тогу сменил бы на мятую футболку с надписью: «Don't woggy». Ничего красного и вызывающего. Только серые тона. Так же и в творчестве.

Его «Новая жизнь» была бы наивна. Его «Комедия» раздражала бы уже одним названием, поскольку в ней безуспешно искали бы поводов для смеха, а смеяться там, как известно, не над чем. Пришлось бы объяснять — почему «Комедия» и почему «Божественная». Чем бы он зарабатывал на жизнь? Аналитическими статьями и политическими памфлетами в *Corriere della Sera* или *La Stampa*.

\* \* \*

Соборы строят не спеша и начинают в них молиться задолго до окончания работ. Роман пишут неспешно и читают так же неспешно. Выход романа в свет похож на окончание строительства собора, и после его прочтения жизнь не может не поменяться. Если же выходят сотни «романов», но жизнь не меняется, да и сами книги проглатываются, как гамбургеры, плохо запоминаясь, то стоит подумать над поиском нового имени для старого жанра. Все великое делается долго, чтобы стоять по возможности вечно. Все ничтожное выходит из моды через неделю после массовой распродажи. Так что бы делал Данте?

Что делал? Что делал? Раздавал бы автографы.

\* \* \*

Вороны могут играть в орлов и репетировать перед зеркалом орлиные повадки. А вот орлы вряд ли уживутся с воронами. Вместо того чтобы усестыся на падаль, они усядутся скорее за липкий столик в винном подвале. Там, в подвале, со временем из них изготовят распластавшее крылья чучело и у входа повесят табличку: здесь с такого-то по такой-то год частенько бывал... Орлиный профиль появится и на бутылочных этикетках.

\* \* \*

Последней надеждой для Данте была бы Церковь. Высокие души, чувствуя шаткость почвы под ногами, часто бегут в храм, в эти по определению «зернохранилища вселенского добра», в эти «запасники всего святого». Когда Данте творил *La Divina Commedia*, он слушал проповедников, читал трактаты, смешивался с говорливой толпой. И сама эпоха клокотала. Астрономы смотрели в небо, богословы женили Библию на Аристотеле, по-

литики наводили страх и сами жили в страхе. И Церковь, то грозная, как полки со знаменами, то кроткая, как голуби при потоках, одушевляла все вокруг. Без нее нельзя было бы писать такие книги, сам сюжет которых вписан в литургический круг, связан с Пасхалией.

\* \* \*

Он обязательно заходил бы в храмы города, из которого когда-то был изгнан. Шутка ли? Санта-Мария-дель-Фьоре уже достроен и вокруг него разноязыкая туристическая толчея. Многих церквей при нем не было. Например, Сан-Марко. Зато Сан-Лоренцо стоит, с пристройками, с изменениями, но стоит. Его нетрудно узнать тому, кто любит здесь каждый камень. Этот храм прост и массивен, как святая вера далеких времен, и чем меньше на нем украшений оставил архитектор, тем сильнее, неколебимей была его вера. И Санта-Кроче тоже стоит, правда, не упираясь в землю, как силач, а красуясь. Здесь есть его, Данте, пустая могила. Само тело в Равенне, в земле изгнания, чаёт воскресения мертвых и жизни будущего века. В тяжбе флорентийцев с равеннцами за мертвое тело поэта

нет и третьей доли волнения за историю и литературу. Лишь борьба за «Его Величество туриста».

Но стойте. Если тело в Равенне, а во Флоренции, в базилике Креста, — кенотаф с надписью, то кто же это с орлиным профилем и воспаленным взглядом ходит по улицам в майке с надписью: «Don't worry»?

Это — идея поэта, тень и имя человека, полного великих мыслей и не знающего, с кем ими поделиться. Он походил по церквам, которые стали музеями; по церквам, оставшимся верными молитве и лишь из вежливости терпящим туристические орды. Он послушал проповеди и посмотрел по телевизору выступление Его Святейшества папы. Это уже третий папа не итальянец, и кого ни спроси, никто не скажет внятно, за что гвельфы боролись против гибеллинов и кто такие те и другие. Зачем и сам он жил, страдая, споря, становясь изгнанником и населяя Ад тенями политических противников? Странно, что мир не рухнул, так изменившись. Странно, что папа не итальянец.

Одно он понял точно: судя по услышанным проповедям, новой «Комедии» уже не

написать, да и та, что написана, мало кому понятна. Человек обмельчал. Как доспехи могучего воина на тощих костях дистрофика, висят остатки былой культуры на ссохшемся человечке и давят его к земле.

Значит, иди, саго. Иди, дорогой, обратно в винный подвал и пиши заметку о суде над Берлускони. Только не помещай его сразу в Ад. Это может иметь непредвиденные последствия для громкого процесса. Иди. Vai. Там уже ждет тебя советник Гёте. Прикладываясь к бокалу Pilsener, он пишет в «Die Welt» статью о перспективах Евросоюза.





## «СЕ, СТОЮ У ДВЕРИ И СТУЧУ...»



**В** 1854 ГОДУ английский художник Уильям Холман Хант представил на суд публики картину «Светоч мира». Вы наверняка знакомы с ее сюжетом по многочисленным подражательным вариациям, год от году имеющим тенденцию становиться все слащавее и слащавее. Лубочные подражания, как правило, называются «Се, стою у двери и стучу...» (Откр 3, 20). Собственно, на эту тему и написана картина, хотя названа иначе. На ней Христос ночью стучится в некие двери. Он — путник. Ему негде «главу приклонить», как и во дни земной жизни. На голове у Него венец из терния, на ногах — сандалии, в руках — светильник. Ночь означает тот мысленный мрак, в котором мы живем привычно. Это

*«Се, стою у двери и стучу...»*

«тьма века сего». Двери, в которые стучит Спаситель, давно не открывались. Очень давно. Свидетельство тому — густой бурьян, растущий у порога.

Зрители в год представления картины публике восприняли полотно враждебно и смысл его при этом не поняли. Им — протестантам или агностикам — почудились в картине навязчивые отзвуки католицизма. И нужно было, как это часто бывает, кому-то зрячему и внимательному рассказать о смысле полотна, расшифровать его, прочесть как книгу. Таким умным толмачом оказался критик и поэт Джон Рёскин. Он объяснил, что полотно аллегорично; что Христос до сих пор удостоен такого же внимания, как и нищие, стучащиеся в двери, и что самое главное на картине — дом — это наше сердце, а двери ведут в ту глубину, где живет наше сокровенное я. В эти-то двери — в двери сердца — и стучится Христос. Он не вламывается в них на правах Хозяина мира, не кричит: «А ну, открывай!» И стучит Он не кулаком, а фалангами пальцев, осторожно. Напомним, что кругом ночь... И мы не спешим открывать... И на главе Христа — венец из терния.

Отвлечемся теперь на минуту, чтобы сказать несколько слов о многочисленных подражаниях и вариациях на тему. О тех самых, которые вы, несомненно, видели. Они отличаются от оригинала тем, что, во-первых, убирают ночь. На них Христос стучит в двери дома (догадайтесь-ка, что это — сердце) днем. За Его спиной виден восточный пейзаж или облачное небо. Картинка радует глаз. По причине ненужности светильника в руке у Спасителя появляется посох Доброго Пастыря. С головы исчезает терновый венец (!). Двери, в которые Господь стучит, лишены уже тех красноречивых зарослей бурьяна, а значит, их открывают регулярно. Молочник или почтальон, видимо, стучат в них каждый день. И вообще домики имеют тенденцию становиться чистенькими и ухоженными — этакими буржуазными из канона «американской мечты». На некоторых изображениях Христос просто улыбается, словно пришел к другу, который Его ждет, или даже Он хочет подшутить над хозяевами: постучит — и спрячется за угол. Как это часто бывает в подделках и стилизациях, трагическое и глубокое смысловое наполнение незаметно уступает

*«Се, стою у двери и стучу...»*

место сентиментальному наигрышу, по сути — издевке над первоначальной темой. Но издевка проглатывается и подмена не замечается.

Теперь к смыслу. Если Христос стучит в двери нашего дома, то не открываем мы Ему по двум причинам: либо мы просто не слышим стука, либо слышим и сознательно не открываем. Второй вариант рассматривать не будем. Он вне нашей компетенции, а значит, пусть существует до Страшного Суда. Что же до первого варианта, то у глухоты есть много объяснений. Например, хозяин пьян. Его пушкой не разбудишь, не то что осторожным стуком нежданного Гостя. Или — внутри дома громко работает телевизор. Не беда, что двери заросли бурьяном, то есть давно не открывались. Кабель протянули через окно, и теперь футбольный чемпионат или социальное шоу гремят с экрана на всю катушку, делая хозяина глухим к остальным звукам. Ведь правда же, есть у каждого из нас такие звуки, слыша которые мы глохнем для всего остального. Это очень возможный и реалистичный вариант — если не для 1854 года (года написания картины), то для наших 2010-х. Еще вариант: хозяин просто умер. Нет его.

Вернее, он есть, но он уже не откроет. Может быть такое? Может. Наше внутреннее я, подлинный хозяин таинственной хижины, может находиться в глубокой летаргии или в объятиях настоящей смерти. Кстати, прислушайтесь сейчас: не стучит ли кто в двери вашего дома? Если вы скажете, что у вас звонок на дверях есть и он работает, а значит, к вам звонят, а не стучат, то это лишь обличит вашу непонятливость. В двери сердца никто к вам не стучит? Прямо сейчас? Прислушайтесь.

Ну и последнее на сегодня. На дверях, в которые стучится Христос, нет наружной ручки. Это заметили все при первом осмотре картины и поставили художнику на вид. Но оказалось, что отсутствие дверной ручки — не ошибка, а сознательный ход. У сердечных дверей нет наружной ручки и наружного замка. Ручка есть только внутри, и только изнутри дверь может быть открыта. Когда К.С.Льюис говорил, что ад заперт изнутри, он, вероятно, отталкивался от мысли, заложенной в картину Ханта. Если человек заперт в аду, то он заперт там добровольно, как самоубийца в горящем доме, как старый алко-

*«Се, стою у двери и стучу...»*

голик-холостяк в бедламе пустых бутылок, паутины и сигаретных окурков. И выход наружу, на стук, на голос Христа возможен только как внутренний волевой акт, как ответ на Божий призыв.

Картины — это книги. Их читать надо. Не только в случае полотен на евангельский сюжет или христианских аллегорий. В любом случае. Пейзаж ведь тоже текст. И портрет — текст. И умение читать не ограничивается умением разбирать слова в газете. Читать нужно учиться всю жизнь. О чем это говорит? О том, что работы у нас много, и жизнь наша должна быть творческой, и неосвоенные поля для деятельности давно заждались тружеников. Если вы согласны, то, может быть, мы расслышали стук?..



# БЕГЛЕЦ ОТ МИРА

СИЛА И СЛАБОСТЬ  
ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ



**У** ЭТОГО человека была смешная фамилия и странная жизнь. Действительно ли мир гнался за ним так, как ему казалось, или иные причины заставляли его всю жизнь быть в движении — Бог знает. Прожив долгую даже по нашим, а тем более по меркам XVIII столетия жизнь, любитель Библии и сын Саввы Григорий по прозвищу Скворода ярко осветил небосклон южнорусского неба. Свет этот был виден далеко и многих заставил с удивлением посмотреть вверх. А удивление, как известно, — мать философии.

Настоящая философия не имеет ничего общего с расхожими ассоциациями. Философу не нужен диплом, мантия, куча книг, от-

дельный кабинет. Он не обязательно должен быть рассеянным и ходить в очках. Ему нужна «филиа» (любовь) к «софии» (мудрости). Остальное, как говорится, приложится.

Настоящих философов так же мало, как полководцев, равных Александру Македонскому. Сократ, может быть лучший из них, не написал ни одной строчки. Он ходил по рынкам, слушал людскую болтовню, иногда надолго застывал в раздумье. Он умел правильно задавать вопросы и внимательно слушать собеседника. Еще он сумел без страха умереть.

Григорий тоже долго ничего не писал. А если потом начал, так это — плод пребывания в животворном лоне христианской культуры. Вся она выросла на поклонении Книге и на любви к книжному знанию. Но начал он писать тогда, когда многие заканчивают — под сорок. Эта выдержанность сообщает мыслям, как вино, терпкость и вкус. У долгого молчания Сковороды можно учиться. Да и вообще учиться у молчания полезнее, чем у трескучей говорливости.

Сковорода — философ практической пользы. Ему чужды отвлеченные рассуждения



о субъектах и объектах. О предикатах, субстанциях и прочих малопонятных вещах, образующих вокруг ложного знания плотную завесу, подобную тем кустам, в которых скрылся нагой и стыдящийся Адам. Сковорода смотрит на философию как на путь овладения истинным блаженством, оно же — и цель жизни. Философия — это чудесный камень алхимика, способный превращать не все подряд в золото, но всякую суету — в притчу, всякий предмет — в символ. Философ должен быть готов, не засоряя речи латынью и не наводя туману, ответить мудро и просто на вопрос «как жить?»

Эх, прошерстить бы по этому критерию все наши кафедры философии...

Вообще-то Сковорода догматически грязен. Чего стоит одно только его утверждение, что мир делится на натуру видимую и невидимую. Видимая — это, дескать, мир, а невидимая — Бог. Если все невидимое Богом назвать, то окажутся богами и Ангелы, и демоны, и мысли, и совесть. За все подряд я хвалить Сковороду не хочу и подчеркиваю — он догматически грязен. А грязен — потому, что своеволен и в своей правоте уверен.

Один епископ выгнал его из своего училища со словами: «Да не живет посреде дому моего творяй гордыню». Я с этим епископом согласен.

Из всех потерь человеческих какая самая горькая? Что самое главное из того, что обронил человек по дороге из Иерусалима в Иерихон? Себя самого потерял человек. Себя настоящего не знает и о себе настоящем не заботится. Григорий Саввич не уставал звать людей вернуться к себе «под кожу». «Все зло и несчастье, — говорит он, — родилось от преслушания сих Христовых слов: “Ищите прежде Царствия Божия...”, “Возвратися в дом твой...”, “Царствие Божие внутрь вас есть...”» Голос его с каждой эпохой становится все актуальней. Смирения в людях скоро на грош не останется. Все уверены, что должны быть счастливы, а где счастье живет — не знают. Оттого мечутся и умирают запыхавшись, с горькой обидой на весь мир и даже на Господа Бога.

Если счастье в чинах, то невозможно всем в одном чине родиться. Если — в Америке, или на Канарских островах, или в Соломоновом веке, то как всем в одном месте и в одном времени поместиться?

И вот сидит наш мудрец под грушкой, дует в дудочку и следит за облачком. А потом переводит на вас взгляд и сквозь столетия серьезным голосом произносит: «Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шару земном, не броди по Иерусалимам... Счастье ни от небес, ни от земли не зависит... Нужное есть только одно: единое на потребу... Что же есть единое? Бог. Вся тварь есть рухлядь, смесь, сволочь, лом, вздор, и плоть, и плетки... А то, что любезное и потребное, есть едино везде и всегда».

Сковорода весь — в Библии. Она ему — невеста, и сладкозвучная горлица, и Давидова арфа. Но плавает он по этому морю опасно, как дерзкий юноша в шторм, за буйками. Еврейские мистики верили, что слава Божия заключена в буквах Торы, как в тюрьме, и пытались ее освободить. Сковорода тоже прочь бежит от буквального смысла, ищет сокровенного, ныряет в текст, как ловец за жемчугом. Но нет никого, кто нырнул бы за ним, если он на глубине замешкается. Сковорода — одиночка. Сковорода — не литургичен.

В церковь Григорий Саввич ходил. Наверняка молился искренне, и Апостол читал, и угадывал за завесой обрядов небесный смысл и красоту будущего века. Но это не стержень его, а так, довесок. Слишком долго литургия называлась обедней и стояла в одной шеренге с вечерней и утреней. О том, что она — Таинство Таинств, писатели и философы, богословы и пастыри вдохновенно заговорят позже. Напишет «Размышления о Божественной литургии» Гоголь, воскреснут в своем подлинном понимании святоотеческие тексты, чудотворно будет служить Иоанн Кронштадтский. Но это — позже. А пока «томимые духовной жаждою» пытаются эту жажду утолить побегом от мира на лоно природы или в тишь кабинета, размышлениями, экстазом внезапного озарения, попытками проникнуть в мир чистых смыслов. Это индивидуалистический, западный путь. Сковорода хоть и украинец, но духовный свой путь совершал по европейским дорогам.

По части бегства от мира у Сковороды можно учиться. Можно вслед за ним весело петь: «Прочь, думы многотрудны, города

премногочудны», — но поспешно радоваться не стоит.

Мир — не единственный враг человека. Есть еще плоть и диавол. И есть какая-то натяжка в писаниях Григория Саввича, когда он говорит о блаженстве вдали от суеты. Это — упрощение, и блаженство одним бегством не покупается.

Есть еще плоть, «страстями бесящаяся и яростию палимая». Сковорода знал внутреннюю муку, приносимую унынием и тоской. Но даже если вдали от мира смирить плоть и погрузиться в слово Божие, третьего врага избежать не удастся.

Диавол преследует каждую душу, как ястреб голубя. Преследует особенно тех, кто взлетел высоко. Таких немного, поскольку большинство людей не голуби, а курицы: крылья есть, но летать не могут.

Подвижникам лукавый является как жестокий и сильный борец. А с любителями поразмышлять перешептывается как незримый собеседник. Смешивая свой шепот с шелестом листвы, лукавому легче побеждать умников и незачем ввергать их в явные пороки. Ложных прозрений и тонкого яда, разлитого в мыслях, достаточно.

Приведу как пример выписку из одной статьи о Сковороде: «Учение о таинственной сопряженности добра со злом переходит у Сковороды в учение о том, что различие зла и добра за пределами мира опыта стирается. “Знаешь, — пишет он, — что есть змий, — знай, что он же и Бог есть”. Эта неожиданная формула, так напоминающая изречения древнего гностицизма, развивается у Сковороды в целую теорию. “Змий только тогда вреден, когда по земле ползет. Мы ползаем по земле как младенцы, а за нами ползет змий”. Но если мы “вознесем его, тогда явится спасительная сила его”».

Вот и приехали.

Мир мысли — скользкая дорожка. Раз поскользнувшись и вскрикнув «а», нельзя потом не прокричать и всю до конца азбуку. Можно начать с игры на дудочке и с невинных погружений в мысли о вечном, а закончить тем, что окажешься не в Царстве Божиим, а в Королевстве кривых зеркал.

О том, что грань добра и зла стирается, о том, что это — тайна для посвященных, действительно говорили гностики. И не зря с ними боролась Церковь. Один из еврейских

лжемессий XVII века — Саббатай Цви — оставил после себя такое «благословение»: «Хвала Тебе, Господи, Который позволяет запретное». А его последователь Яков Франк спустя сто лет учил, что грешить похвально, ибо так сила зла преодолевается изнутри.

Удивительно, как люди разных традиций додумываются до схожих вещей.

Вернемся еще на минутку к Библии. Она для Сковороды — один из трех миров. «Суть три мира. Первый есть всеобщий и обитательный, где все рожденное обитает. Сей составлен из бесчисленных миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый — микрокосм, сиречь мирок, или человек. Второй мир символический, сиречь Библия...»

Отметим, что макрокосм — большой мир — для Сковороды совечен Богу (эллинская ересь или, что то же, — догматическая грязь).

Мир Библии для Григория Саввича — это мир мерцающий, колеблющийся, мир добра и зла, истины и лжи одновременно. Сковорода говорит: «Благородный и забавный есть обман и подлог, где находим под ложью исти-

ну, мудрость под буйством, а во плоти — Бога». «Библия есть ложь, и буйство Божие не в том, чтоб лжи нас поучала, но только во лжи напечатлела следы и пути, возводящие ползущий ум к превысшей истине». «Вся тварь, — говорит Сковорода, — есть поле следов Божиих. Во всех сих лживых терминах, или пределах, таится и является, лежит и восстает пресветлая истина...»

При всей погруженности Сковороды в мир религиозных идей, его даже коммунисты любили. Как можно не любить человека, избегавшего роскоши и говорившего, что «мой жребий с голяками». К тому же — монашество недолюбливал, об иерархии отзывался пренебрежительно. Любят его и националисты за то, что любил свободу во времена «московского гнета». Сковорода вообще как червонец, всем нравится. Но это не от большого ума. Так просто любят, как Шевченко, не читая.

Да и не удивительно. Вчитаться в Сковороду — труд нелегкий. А вчитаться стоит, потому что этот высокий старик с прямой спиной и ясными глазами не так уж безобиден.



Нет, в капельных дозах он даже может быть полезен, но без молитвенной защиты и без воздуха католического богословия о Сковороду можно порезаться. В нем можно задохнуться. Можно обжечься, в конце концов.

На то он и Сковорода.



# СУДЬЯ ПРОШЕДШИХ СТОЛЕТИЙ



**В** СОБРАНИИ сочинений Чаадаева есть небольшая глава под названием «Надписи на книгах». Подобные главы – интереснейший раздел догадок о внутреннем мире человека, вырастающий из подчеркиваний ногтем или карандашом каких-то слов в текстах читаемых книг, из кратких ремарок, бегло начертанных на полях. Так, Татьяна разгадывала тайну онегинской души по книгам, которые он читал, и по обстановке кабинета.

Хранили многие страницы  
Отметку резкую ногтей;  
Глаза внимательной девицы  
Устремлены на них живей.

И далее:

На их полях она встречает  
Черты его карандаша.  
Везде Онегина душа  
Себя невольно выражает  
То кратким словом, то крестом,  
То вопросительным крючком.

С подобным интересом открывал я книгу писем, заметок, набросков Чаадаева. Признаюсь, мне интересен этот человек, о котором Тютчев писал, что не согласен с Чаадаевым более, чем с кем-либо другим, но любит его более всех остальных. Петр Яковлевич — враг всякого «ура-патриотизма», обоснованного нелепостями типа «шапками закидаем». Он — холодный западник и вместе с тем — подлинный патриот, он — критик, но не циник, умный судья прошедших столетий, с которым можно не соглашаться, но мимо которого нельзя пройти. Его достоинство: он будит мысль и заставляет искать пути из тупиков и распутий. *Volens nolens*, к его скудным, но насыщенным писаниям придется возвращаться еще не раз, то опровергая их, то дополняя, то соглашаясь с ними, но всегда оттачивая мысль и напрягая душу.

\* \* \*

Вот он пишет неизвестному адресату, отправленному модными сомнениями: «Если бы, не называя Христа, вам говорили о Нем, как о философе (без употребления обычных избитых выражений), как о Декарте, например, вы признали бы Его учение вполне разумным». Остановимся на этих словах Петра Яковлевича. А в иное время возьмем нечто другое для размышления.

Идея сравнить Христа с философами и учителями человечества не нова. При помощи этой идеи иные девальвируют христианство до уровня «одного из учений» наряду с пифагорейством, платонизмом, конфуцианством и пр. Другие, напротив, пытаются обратить внимание читающих и думающих людей на уникальность Христова Евангелия при помощи сравнения Евангелия с учениями человеческими. Вот и мы, отталкиваясь от сентенции Чаадаева, подумаем о Евангелии Христовом еще раз. Итак: «Если бы вам говорили о Христе, как о Декарте...»

\* \* \*

Первое. Чаадаев приводит в пример сравнения Декарта. Не знаю, говорит ли что-либо

это имя читателю; знаком ли читатель с «радикальным сомнением», аналитической геометрией и принципом «мыслю, значит существую». Хорошо во Христе быть книжником, но не фарисеем. Чем больше объем прочитанного, тем ярче сияет на этом фоне Божественная простота и тем сильнее может быть аргументация в пользу слова Божия. Декарт тоже может быть полезен, хотя читают его за пределами специальных курсов, конечно, и мало и редко. Но что доступно всякому читателю, так это сравнение объемов написанного Декартом и написанного апостолами о Христе (Сам Господь, как известно, книг не писал). Декарт, Платон, Кант, Гегель и прочие труженики цеха философов, как правило, написали или надиктовали столько, что тоненькая книжечка под названием Новый Завет по объему сгодится в качестве разве что вступительной статьи к этим фолиантам. Однако поистине революционной и изменяющей мир стоит признать в первую очередь тоненькую книжечку Нового Завета, в тени которой помещаются все Декарты, Гегели и Канты вместе с комментаторами. Это удивительно!



Второе. К чтению таких «тяжеловесов» от философии, как упомянутые гении, может приступить только человек подготовленный. Нужна умственная дисциплина, навык чтения больших текстов, владение особой терминологией и пр. Рыбак, пастух и домохозяйка, к которым обращено Евангелие и кто часто выведен на его страницах, могут даже не мечтать осилить Канта с Декартом без особых подготовительных трудов. А совершивши подготовительные труды, они, скорее всего, махнут рукой на книги сих почтенных мужей и вернутся к сетям, посоху и кухонным горшкам, поскольку это их прокормит, а Кант быстрее уморит, чем насытит. Не то с Евангелием.

Являясь пищей для самого простого человека, оно вместе с тем питает самые возвышенные умы, одновременно предлагая свои сокровища старикам и молодым, грамотеям и невеждам, богачам и беднякам. Евангелие говорит со всеми вообще, кто имеет уши, чтобы слышать. Оно находит путь к совершенно разным сердцам, умам и душам. Это разительное свойство Евангелия — одно из простейших

и неоспоримейших доказательств его Божественного происхождения.

Декарт отдыхает.

\* \* \*

Третье. Читая Платона, я вовсе не обязан верить в Платона. Читая Аристотеля, я вовсе не обязан любить Аристотеля. Мне и в голову это не приходит. Честно говоря, я способен пользоваться методами Аристотеля ненавидя его самого, что совершенно исключается в отношении к тоненькой книжечке Нового Завета. Светские науки, говорят, не полюбишь. Если не поймешь. А слово Божие не поймешь именно, если прежде не полюбишь.

На языке Нового Завета «познавать» означает приобщаться к объекту познания в вере и любви. Читая Новый Завет, я то и дело встречаюсь со словами о необходимости верить в Иисуса Христа и любить Его. Он говорит: *Веруйте в Бога, и в Меня веруйте* (Ин 14, 1). И еще говорит: *Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин 14, 23). Цитаты можно множить, они лишь усилят

доказательную базу различия Евангелия от прочих знаковых философских текстов.

Христос — не Декарт, и апостолы — не Цицероны, это уж точно.

\* \* \*

В то время, когда Чаадаев писал свои «Философические письма» и обменивался мыслями с немногими друзьями, в России назревало философское пробуждение. Через некоторое время во множестве появятся восторженные юноши, которые согласятся отказаться ото всех радостей жизни, если им внятно не объяснят систему Гегеля. То же самое происходило и в умственной жизни Запада. Исключение составляли люди, подобные Кьеркегору. Тот говорил, что не понимает Гегеля, однако не переживает по этому поводу. «Я, — говорил, — пойму Гегеля, как только захочу его понять. Но я не понимаю Авраама!» Мир веры, мир священных парадоксов и Божиих загадок куда более достоин внимания человеческого, хоть и выражен он языком простых притч или безыскусного повествования.

Чаадаеву казалось, что изложенная в виде системы «философия Иисуса Христа» могла



бы пленить образованных людей так же, как пленяли их толстые книги велеречивых мудрецов. Именно с этой мыслью Замоскворецкого затворника я не согласен. А вообще многое мне у Чаадаева кажется серьезным, выстраданным и полезным. Поэтому, если Бог благословит, хотелось бы не раз еще оттолкнуться от его разбросанных там и сям ярких мыслей, чтобы либо развить их, либо побродить вокруг них в раздумье.

Кстати, упомянутый нами Декарт говорил, что чтение книг тем именно хорошо, что в книгах «лучшие люди мира щедро делятся с нами своими лучшими мыслями».



# ОБИДА И НЕДОУМЕНИЕ



**Е**РОФЕЕВ говорил, что на Руси все знают, как употреблять политуру и как очищать денатурат. А вот Пушкина не знают и не читают. Ерофеев ерничал. Но иногда правду можно только ерничая сказать.

Пушкин точен и изящен. Он не из гранатомета стреляет, а делает мушкетерские выпады и поражает точку, а не площадь. Мне нравится его цитировать. И так мне удивительна ненависть к нему, что слов нет! Обида душит. Обида и недоумение. Потом являются слова.

«Где живет автор? Чего он, наконец, хочет?» — спрашивает не без возмущения какой-то добрый, без сомнения, человек, реагируя в комментариях на мою статью о городе, где цитировался Пушкин.

Отвечаю. Автор в городе живет, в той самой тюрьме с гирляндами, где на ужин — макароны. Чего он хочет? Если бы он знал, чего. Любви хочет, в рай хочет. Еще он хочет, чтоб дети ему глаза закрыли, а не наоборот, не дай Бог! Автор хочет, чтобы людям было о чем думать наедине и разговаривать, когда собираются вместе. Хотя автор и вырос в городе, по степени наивности он — дитя природы. Как чукча.

\* \* \*

Как же смешон человек! Как он глуп и прекрасен!

Я живо представляю себе того милого, доброго чукчу из анекдота, который «с высокой думой на челе» стоял у кромки Ледовитого океана. На вопрос, о чем он так задумался, он отвечал, что его очень волнует Гондурас. Ну, волнует его детское воображение политическая обстановка в этой мятежной и далекой стране, где нет ни снега, ни оленей, о которой он недавно лишь узнал из газетной заметки. Вам смешно? Мне — да. Но смешно здесь сочетание тревоги со словом Гондурас, а сама тревога чукчи умилительна.

Он смешон, этот житель холодных просторов, но в нем есть сердце, есть сострадание и отзывчивость на мировую скорбь. А вот я стою такой же грустный и смотрю не на холодный океан, а на воду, текущую из крана. Спросите, что меня тревожит? Я вам честно отвечу. Меня тревожат православные люди. Не все, но некоторые. По имени они — хранители Истины и служители ее. Но по факту они так часто грубы, глупы и, что хуже всего, враждебны знанию, что оторопь овладевает мною. А потом оторопь сменяется содроганием.

Зачем мы часто относимся к Православию так, словно оно — тяжелая дубина, полученная по наследству и предназначенная для сокрушения несогласных? Неужели Истина подобна прокрустову ложу, на котором обрубая длинных и растяжением увечат коротышек? Неужели она не бальзам, не свет и не жизнь, а что-то раздраженное, надрывное, болезненное?

\* \* \*

На скрипке в храме не играют. Это всем известно. Но неужели на этом основании

позволено, взяв инструмент за «шейку», треснуть им без жалости о каменную стену? «Нет, нет! Не позволено!» — надеюсь, закричите вы. «Скрипка изящна, ее голос приникает в душу глубже иных голосов! Весь мир слышал о Гварнери и Страдивари! Не позволено!»

Я согласен с вами, но верите ли вы, что множество людей найдется среди нас, согласных на варварство — вслушайтесь — из «духовных побуждений». Есть множество среди нас открытых и скрытых врагов всего, что не вмещается в специфический разум «ложного подвижничества». Не знаю, станут ли они непременно рубить топором всякий рояль или обливать кислотой картины в Третьяковке, но плохо скрытое презрение к искусству, философии и поэзии живет во многих. И многие оправдывают эту добровольную дикость «духовностью».

\* \* \*

Достается больше тем, кто на виду. Например — Пушкину. Записали человека навеки в развратники, произнесли, так сказать, окончательный суд, и — все. Можно спокойно не читать ничего из лучшего поэта, писавше-

го по-русски. Вот и этот добрый несомненно и хороший человек с благородными намерениями так отозвался на мою статью с пушкинскими цитатами: «Анализировать развратника и прелюбодея Пушкина, называющего себя пророком, — это, конечно, очень благодатная почва для православной апологетики в широком смысле!» Дальше зачем-то приплел Баркова.

Позвольте, но лучшие умы Церкви не оставляли без пристального внимания творчество Пушкина с тех пор, как он осветил небосклон русской речи! Его творчество анализировали, критиковали и изучали святители, философы, писатели. Критиковали и изучали, но не отметали с презрением! У нас полным-полно развратников, да и мы сами из них же (от них же первый есмь — аз, так ведь?), но у нас не полным-полно Пушкиных. Это очевидно, но почему-то непонятно.

Я говорю об этом еще и потому, что сам грешил подобными мыслями. Моему сердцу очень даже известна та скопческая строгость, в которой главное место занимает любовь к осуждению и «самосвятство». Кто книг не жег воцерковляясь? И кто об этом после не жалел?

Невдомек еще мне было, что грехи известных людей отличаются от моих грехов, во-первых, всего лишь степенью огласки. Развратничает-то весь мир. Но про разврат какой-нибудь Марии Ивановны известно только Петру Семеновичу да дюжине соседок. А разврат Пушкина известен всему миру благодаря целой науке — пушкинистике.

Как-то нужно сделать усилие над собой и понять, что не за половые шалости автора в быту мы любим те или иные книги, а за совсем иное, чему иногда трудно и имя подобрать.

Здесь, правда, есть другая опасная грань — творчеством оправдывать любые гадости. Вот этого быть не должно. Мне неприятны воспоминания, скажем, А.Кончаловского, где он запросто, как о «сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне», повествует о своих половых опытах. Натe, мол, откровения гения. До чего же отличается от этих спокойных повествователей эпохи вседозволенности терзаемый совестью, анафематствованный Толстой, когда мучительно рассказывает о грехах своей юности и молодости!

Нет, гнусен человек, достигший творчеством известности и позволяющий себе вслух

и спокойно (!) порассуждать о нарушении им всех заповедей и седьмой — в первую очередь. То, что стыдно, — стыдно, и грязь смывается слезами, а не стихом и не мемуарами. Иногда — и слезами, и стихом, как у того же Александра:

И, с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью...

\* \* \*

Его нельзя не читать. С ним нужно познакомиться. А то у нас одни с Библией знакомы только по мультику «Суперкнига», а другие — с Пушкиным только по школьной хрестоматии. На этом фундаменте и рассуждения с осуждениями строят. Научиться читать Пушкина (равно как Ахматову, Мандельштаму или Пастернака) тяжело. «Поэтическая неграмотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть с умением читать буквы, ни даже с литературной начитанностью». Это сказал Мандельштам. Далее он же: «Поэтическая неграмотность чудовищна. Сказанное сугубо относится



к *полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом* (курсив мой. — А.Т.), потерявшей коренное чувство языка, в сущности, уже безъязычной, аморфной в отношении языка». Это — статья «Выпад» из раздела «О поэзии».

Шестоднев Бытия, Псалтирь Давида и Песнь Песней — это ведь тоже поэзия. Поэзия вообще ближе к религиозному откровению, чем, скажем, наука. Об этом Шмеман в дневниках обмолвился. Так может ли бесчувственность к поэзии не отразиться на нелюбви к слову вообще и слову Божию в особенности? Не может. Здесь тоже, кстати, варварству удобно при желании отмахнуться грехами писателей: Моисей убил египтянина, Давид к убийству Урии присоединил прелюбодеяние. А про Соломона просто помолчим. Так ли? Если так, то мы далеко зайдем, коль не зашли уже.

\* \* \*

У коммунистов «паровоз вперед летел». У их предтеч «корабль плыл в будущее». С этого корабля предлагалось сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского.

Вот что пишет Алексей Крученых — идеолог и деятель футуризма — в своих воспоминаниях. «Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы. (Это о Манифесте «Пощечина общественному вкусу». — А.Т.) Помню, я предложил: “Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”.

Маяковский добавил: “С парохода современности”.

Кто-то — “сбросить с парохода”».

На дворе — декабрь 1912 года. Сами посчитайте, сколько осталось до обстрела большевиками Московского Кремля.

Вас не пугает одинаковое отношение к классике у тех, кто считает себя православным, и у тех, кто открыто и без страха богохульствует? Меня пугает. Те — сбросить с парохода. А эти — зачем читать анафематствованного Толстого, развратника Пушкина и каторжника-эпилептика Достоевского? Какое жуткое тождество интуиций у представителей таких разных идеологий! Надо бы вести себя иначе, а ответ «как?» опять можно поискать в поэзии. Волошин бы сказал:

А я стою один меж них  
В ревущем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.

\* \* \*

Эмпирический человек состоит из костей, крови, слизи, не до конца переваренной пищи, перхоти, запаха изо рта. Какое уж тут творчество! Но сокровенный сердца человек, драгоценный пред Богом (см.: 1 Пет 3, 4) красив и на творчество способен. О нем и нужно говорить. Его, как непогасший огонек под пеплом, нужно раздувать, а не гасить. Ради человека с небес Сын Божий сошел! Сошел спасти, а не дополнительно унизить.

\* \* \*

Я радуюсь, когда нахожу любимые строчки в нелюбимых авторах. Вот не люблю я творчество Евтушенко в целом, но многое по частям люблю у него. И хорошо мне от этой любви. От этих прикосновений души к душе осуждать не хочется. И Вознесенского я тоже в целом не люблю. Как-то даже органически. А вот это у него люблю:

Человек на 60 процентов из химикалиев,  
на 40 процентов из лжи и ржи...  
Но на 1 процент из Микеланджело!  
Поэтому я делаю витражи.

С армейских времен помню эти слова,  
прочитанные на последней странице толсто-  
го журнала, забыл — какого.

\* \* \*

Не любите Пушкина и не восторгайтесь  
им. Вы это делать не обязаны. Восторгайт-  
есь закатом и рассветом, первым снегом  
и детской улыбкой, опадающим кленом и цве-  
тущей вишней. Но найдите что-то у Пушки-  
на, что внезапно кольнет вас в середине гру-  
ди и родит слезу в уголке глаза. Найдите эти  
строчки, чтобы вам перевести дух и сказать:  
«Надо же...»

То, что вас кольнет, будет от Бога. Оно  
сделает вас лучше. А грехи... Грехи у всех,  
причем — тяжкие.

\* \* \*

Если честно, то, будучи эгоистом, я вооб-  
ще не умею любить. Не научился еще. Это мой  
грех. Заповедь о любви к Богу и ближнему

обличает меня и страшит своей высотой. Чукча из анекдота, тревожащийся о Гондурасе, во сто крат лучше нас, городских снобов и мнимых обладателей истины. Он о других переживает.

А мы? Немая жизнь без красоты и мысли, вот что всюду бросается в глаза.

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...

\* \* \*

И поэзия одной строчкой ставит диагноз, без которого больного невозможно лечить.

Поэзия в этом глухонемом преддверии ада тем хороша, что дарит язык и слово онемевшему духовному калеке и калека начинает говорить о себе, о глубине своей подаренными словами. Он узнает себя и тайну свою в сказанном кем-то.

\* \* \*

Как интересно: читаешь по привычке, читаешь от нечего делать, по рабочей необходимости, из любопытства, из желания когда-то высказать свои познания, еще из тысячи под-

*Обида и недоумение*

лых и мелких причин, и вдруг — вострепнулся, обрел смысл и вместе с ним — голос! Об этом тоже сказано у нелюбимого мною в целом, но уважаемого в частях Вознесенского:

Но тут мое хобби подменяется любовью.  
Жизнь расколота? Не скажи!  
За окнами пахнет средневековьем.  
Поэтому я делаю витражи.



# ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЕЧНОСТИ

## Слово о Гоголе



**Е**СЛИ житейское счастье — ваш идеал, то талант — это синоним «наказания». «Пророк, не устроенный в быту», «великий человек, не умеющий обустроить свою частную жизнь» — таким был в глазах обывателей персонаж нашей статьи. Николай Васильевич Гоголь, человек, перед которым нам хочется снять шляпу и поклониться. Человек, которого мы несколько побаиваемся.

Писатели не всегда были «инженерами душ». Богословы и политики столетиями сохраняли власть над общественными процессами и претензию на то, чтобы до конца времен влиять на человеческие умы и на социальную жизнь. Николай Васильевич — один из первых вторгшихся в не свойственную до него

писателям сферу. Он осмелился учить людей искусству жить. Люди имели право на него за это обидеться. «Учить, — думали люди, — имеет право тот, кто сам овладел предметом». Люди были правы, но, как всегда, частично.

Гоголь не мог похвалиться внутренним комфортом, семейным счастьем, личной святостью. Он был безбытен, неприкаян; родная рука не поправляла ему подушку в дни болезни. Но все же он мог сказать нечто касающееся человека вообще. Из «господина сочинителя» он перешел в разряд пророков, а это и опасно, и малопривлекательно одновременно.

Если бы Гоголь женился, он бы не был тем, кем мы знаем его сегодня. Те развернутые пеленки с зеленым и желтым, о которых писал Розанов, не дали бы развернуться гоголевскому таланту. Чтобы говорить для всех, нужно быть не связанным со всеми, отличным от всех, то есть бессемейным. Пророк бессемен по определению, иначе Ксантиппа замучает Сократа и огненные глаголы погаснут в солевой влаге споров о насущном.

Если бы Гоголь жил только в России, он не написал бы о ней ни одной пророческой строчки. «Лицом к лицу лица не увидать».



Россия (то бишь и Украина тоже) была бы напрочь ему непонятна, если бы не глядеть на нее из Италии или Швейцарии. Любому человеку для осмысления своей прожитой жизни нужно удаляться хоть на дачу, хоть в ближайшее зарубежье, откуда привычное приобретает мифические, вечные черты. Талант тем более зависим от путешествий. Перемещения в пространстве так же плодотворны для людей искусства, как временное воздержание в браке для крепости семейных уз.

Николай Васильевич несколько юродив в литературе и, значит, несколько свят. Любой юродивый — бомж. Николай Васильевич, по неизбежности, тоже. Может быть, потому он и любил Италию, называл ее своей, что бомжевать в Италии легче, чем в России. Спать на лавке, пить воду из фонтана, утолять приступы голода сорванным с чужой ветки немывтым фруктом можно только в южных широтах. Наши бомжи гораздо несчастнее и незащищеннее. Точно так же наши писатели более зависимы от власти, более склонны рассчитывать на подачки, менее способны выжить в одиночку в сравнении со свободными певцами теплых краев. Те поют для себя обо всем,

что видят. Наши поют под заказ. Петь у нас и быть свободным — так же тяжело, как ночевать на лавке холодной осенью. Николай Васильевич умудрился не подчинить свой творческий голос конъюнктуре. Но нельзя сказать, что это ему ничего не стоило.

Его книги обрамлены пожарами. Сгоревший «Ганс Кюхельгартен» в начале творческого пути — это буква «А» гоголевского алфавита. Сгоревший второй том «Мертвых душ» — это буква «Я» в том же алфавите. А ну-ка найдем еще хотя бы одного такого писателя, который начинал и заканчивал свой путь творческим аутодафе! Трудно будет. Большинство пишущей братии не так нежны с родными детьми, как с написанными текстами. Дать сотню баксов бабе на аборт — легко. Сжечь свою примитивную рукопись — никогда в жизни! Если писательство — это процесс и в нем важна преемственность, то хорошо бы людям, знающим, как писать, но не знающим — о чем, научиться у Гоголя беспощадности к своим бессмысленным творениям.

На смену цивилизации Фауста должна прийти цивилизация Достоевского. Это сказал Освальд Шпенглер. Но Достоевский сам

признался, что он, как и многие другие, вырос, вышел из гоголевской «Шинели». Значит, будущая православная цивилизация, востребованная ныне как никогда, цивилизация, чей призрак маячит на мысленном горизонте, вырастает в том числе и из Гоголя. Ведь он — «христианнейший писатель». Этим высоким именем можно назвать многих, к примеру Диккенса. Диккенс много и проникновенно, с огромной степенью внутренней достоверности пишет о кротости, молитве, о силе добра и внутренней слабости зла. Но он ничего не пишет о литургии. А Гоголь — пишет. Первый из всей писательской братии Николай Васильевич включает в поле своего внимания литургическую жизнь Церкви. Его интересуют Таинства! Не отдельно мораль, не отдельно текст Нового Завета. Но Таинства как средоточие новозаветной жизни. «Если люди не поедают друг друга еще, то тайная причина этому — ежедневное служение Божественной литургии», — пишет Гоголь в своих «Размышлениях...» о Божественной службе. Чтобы сказать эти слова, мало быть талантливым. Нужно быть прозорливым или сверхчувствительным.

Говорят, он и сам хотел быть монахом. Какое счастье, что ему этого не благословили. Он бы не смог стоять в строю, он бы не смог до конца слиться с братией. Он так и остался бы «штучным» и уникальным продуктом. А значит, его возможное монашество обернулось бы возможным крахом религиозных идеалов. К мирской жизни он тоже был плохо приспособлен. Оставалось только умереть.

Сорок два — такое число получается при нехитрых вычислениях, которые мы производим, отнимая от даты смерти дату рождения. Много это или мало? Если брать Моисеевы слова из 89-го псалма, где говорится, что дни лет наших — семьдесят, если в силах — восемьдесят, то — мало. Если сравнивать с Пушкиным, умершим в тридцать семь, или Лермонтовым, умершим еще более молодым, то — не так уж мало. Что вообще значит «мало» или «много» перед лицом вечности? А ведь о ней говорил и думал чаще других покойный. Разве не он некоторых живых нарек мертвыми душами?

Светское-советское литературоведение избегало разговора о вечности, но кормило

читателей ужасами о писателе, переворачивающемся и агонизирующем в гробу а-ля персонаж из «Вечеров на хуторе...». На самом деле он умирал с молитвой. В его ногах по его же просьбе была поставлена икона Божией Матери, и когда в забытии писатель говорил о лестнице, мы можем смело предполагать, что думал он о Деве Марии. Ведь о Ней говорит церковная служба, знакомая Гоголю с детства: «Радуйся, Лествице небесная, Еюже сниде Бог». И еще запомнили в доме Толстых, где умирал писатель, последние его слова: «Как сладко умирать».

Мемориальными досками, памятниками и музеями от таких масштабных фигур, как Гоголь, не отмажешься. Без сомнения, он сказал меньше, чем понял, а почувствовал больше, чем сказал. Творчество подобных писателей — это незамолкающий крик и вызов грядущим поколениям. Каждое из них, в том числе и наше, обязано вчитываться в скупые строчки гениальных текстов хотя бы для того, чтобы избежать многих бед, угрожающих невнимательному потомству гения.

# ЧИЧИКОВ: ТИП ИСТОРИЧЕСКИЙ



**З**НАЕТЕ ли вы Павла Ивановича? Какого, спросите? Ну как же, милейшего человека средних лет, приятного обращения, не то чтобы толстого, но и совсем не худого. Не очень высокого, но вовсе и не низкого. Неужели не вспомнили? Да Чичикова же! Чему вас только в школе учили? С тех пор как бричка с кучером Селифаном умчалась из города N., Павел Иванович не растворился, не канул в Лету, никуда не исчез. В русской жизни, как в зеркальной комнате, Чичиков стократно отразился в каждом из зеркал и стал почти вездесущим. Николай Васильевич специально наделил Павла Ивановича чертами типическими, расплывчатыми, общими. Автор творческим чутьем уловил

будущее. Он понял, что Собакевичи и Маниловы нуждаются в сохранении для грядущих потомков. Типы эти уже тогда были исчезающими и нуждались в детальном и тщательном увековечивании. Их фигуры, манеры, голоса и причуды Гоголь прописывает с той тщательностью, с какой египтяне древности мумифицировали усопших, помещая каждый орган в специальный глиняный коноб, и только мозг выбрасывали вон, поскольку не знали о его функции. А вот главного героя автор пишет как импрессионист — широкими мазками, не вдаваясь в детали, но создавая яркое чувство: «этого господина я знаю». Гоголь чувствовал — будущее за Чичиковым, Чичиков — хозяин настоящей и будущей эпох. Пока он вынужденно улыбается, обдывая делишки, пока он еще шаркает ножкой. Но это пока. В будущем он преобразится и приосанится. Это сегодня он один и вынужден мелькать на фоне мелкого и крупного люда. Настанет время, когда Чичиковых будет много и уже народ, мелкий и крупный, будет сновать на их фоне. Вот потому и не прописан детально портрет Павла Ивановича, что предстоит ему стать лицом типическим,

*Чичиков: тип исторический*

с чертами общими. Что, собственно, и совершилось уже.

\* \* \*

Чичиков — это русский капиталист периода первого накопления капитала. Его главная черта — **умение делать деньги из воздуха**. Пусть американские форды проповедуют о том, что ключ к богатству не золотой, а — гаечный. Чичиков — человек русский, с глубоким чувством национальной гордости и соответственным презрением ко всякой «немчуре». Заниматься изобретательством, улучшением производства ему недосуг. Долго, да и ненадежно. Деньги нужно брать умом и сразу.

\* \* \*

Пишу и думаю: уж не являются ли «Мертвые души» настольной книгой у творцов ваучерной приватизации, дефолтов, купонов, бартерных схем? Словом, тех, кто обогатился в известные времена за одну ночь или за неделю, оставив народ с фигурой из трех пальцев? Если да, то снимаю шляпу. У бедных работников гусиного пера или шариковой ручки всегда найдется довольно снобизма для взгляда



сверху вниз на плохо образованного миллионера. А ну как миллионер потому и с миллионами, что хорошо знаком с классикой и читает ее не для отдыха, а для жизни?

\* \* \*

Иудину страсть к деньгам назвал корнем всех зол еще святой Павел. Деньги открывают доступ ко «всем тяжким», и за это именно ценятся. В последней главе первого тома «Мертвых душ», там, где впервые сообщаются подробности биографии Чичикова, не зря говорится, что деньги наш герой любил не сами по себе. Он не был скупым рыцарем и вообще рыцарем не был. Жизнь в нищете и ежедневные походы в подвал, где в бликах сального огарка в сундуках мерцает золото, были не по нем. Он скорее бы поставил подпись свою под фразой Филиппа Македонского, сказавшего, что осел, груженный золотом, откроет ему ворота любой крепости.

Деньги можно любить за их умение превращаться в каменные дома с фонтанами, в бриллиантовую заколку к галстуку, в богато сервированный стол, в женскую любовь, в общественную значимость... Да мало ли еще

*Чичиков: тип исторический*

во что могут превращаться золотые монеты и банковские билеты! Нельзя ли сказать, что это и есть тот философский камень, который искали алхимики, камень, дающий доступ ко всем удовольствиям?!

Так что прочь донкихотство, прочь пенье под окном и глупые поединки. Прочь романтизм, и да здравствует трезвая практичность. Нужно доставать деньги. Именно доставать, а не зарабатывать, потому что «зарабатывать» значит трудиться долго и получать мало. Честным трудом, говорят, не построишь хоро́м, а жизнь бежит и так многого хочется.

\* \* \*

«И в тебе и во мне есть часть души иудинной» — так говорил в одной из проповедей на Страстной седмице преподобный Иустин Попович. Гоголь говорит примерно то же. Он говорит, что быть слишком строгим не нужно. Стоит проверить себя — нет ли и во мне частицы Павла Ивановича? А ну как и я ценю деньги больше всего святого? И для того именно ценю, что ими надеюсь купить или сласти запретные, или власть, коли не над миром, то над родным городом по крайней мере?

Вопрос не праздный, как и все вопросы, поднятые Гоголем.

\* \* \*

Как тип исторический Чичиков имел на Руси много препятствий к тому, чтобы вернуться. Заветные мечты не раз ускользали у него не то чтобы из-под носа, но из самых рук. Как герой гоголевской поэмы он, претерпев тысячи унижений, взлетал на нужную высоту, но изменения судьбы внезапно сбрасывали его вниз, и опять начиналось тяжелое восхождение.

Вскоре после описанных у Гоголя времен пришла отмена крепостного права. А ведь это целая смена эпох. Как ручей пересохло помещичье сословие. Маниловы или сыновья их сделались дядями Ванями, и стук топора, вырубавшего вишневый сад, возвестил о новом историческом периоде. Пришел шумный, как паровоз, и гордо высящийся, как заводские трубы, капитализм. Для Чичикова это то же, что для рыбы вода. Государственные подряды, частная инициатива, всеобщая и открытая любовь к деньгам. Но..!

Начало странно лихорадить государство, то самое, что казалось незыблемым. Чиновник долго грабил с чувством собственной значимости. А мужик столетиями пахал, лукавил и терпел. Все немножко пили, немножко скучали, немножко болтали о том о сем, как вдруг пошли стачки, листовки, призывы к восстанию. Какие-то комитеты, партии, слова о свободе... Все расшаталось и взбеленилось. Как перегретый котел паровоза, империя вскоре взорвалась. Последствия этого взрыва повлияли на историю даже самых отдаленных стран. Нас и сейчас еще пошатывает от ударной волны того взрыва, которая хоть и ослабела, сто раз обошедши вокруг Земли, но все еще не исчезла. Мир изменился до неузнаваемости. Чичикову пришлось надолго затаиться.

Он вышел на свет в 20-х годах прошлого, XX столетия, при НЭПе.

\* \* \*

Мне не известно, приходило ли в голову кому-то то, что я сейчас скажу, но Чичиков воскрес на страницах творений Ильфа и Петрова. Как и в начале «Мертвых душ», в начале

«12 стульев» главный герой приходит в уездный город N. в поисках авантюрных и легких заработков. Правда, заходит он пешком, а не въезжает на бричке, и под штиблетами у него нет носков, но это — дань отшумевшему лихолетью. А так перед нами все тот же пройдоха, умеющий **делать деньги из воздуха**. Пройдясь прогулочным шагом через пространство первого романа, доказав всем свою смекалку и непотопляемую живучесть, он появляется во втором романе, чтобы сразиться с собственным двойником.

Господин Корейко из «Золотого теленка» — это ведь тоже Чичиков. Это сребролюбец и ловкач, который скрывается под образом мелкого служащего, как и сам Пал Иваныч когда-то, но не потому, что стремится обогатиться, а потому, что не может воспользоваться уже накопленным (читай — наворованным) богатством. Бендер и Корейко связаны между собою, как тело и его тень. Так, в фильме Алана Паркера «Сердце Ангела» герой Микки Рурка ищет себя самого. Они встречаются, и встреча не сулит добра. Пересказывать фабулу фильма и содержание романа нет смысла. Одним они известны, другие пусть озна-

*Чичиков: тип исторический*

комятся. Но в виде рубахи-парня с одесским акцентом и криминальными замашками Чичикову тоже не удалось прожить долго. НЭП свернули. Пройдохи затесались в аппарат (не для того, чтобы обогатиться, а чтобы выжить) или не по своей воле уехали умирать на стройки века. Чичиков опять исчез.

\* \* \*

Гоголь мучительно писал свою поэму. Обремененный даром провидца, он ее и не закончил. Русь неслась куда-то как ошалелая. Гоголь чувствовал это, и завершение работы ему не далось потому, что выписанный тип должен был еще долго жить и развиваться, а гоголевская Россия должна была исчезнуть.

То, что Чичиков живет многих живых, это ясно. Но куда все движется? Все эти философские отступления о русской душе, о быстрой езде, вопросы «куда несешься ты, дай ответ?» — не от предчувствия ли надвигавшейся бури?

\* \* \*

Еврей с рождения получает в наследство ум и настырность. Если у него есть вера,

то он может стать наследником пророков. Если веры нет, но есть совесть, то станет он скрипачом, или шахматистом, или ученым. Если же нет ни веры, ни совести, то будет он крайним материалистом, циником и персонажем анекдотов.

Русским не подобает слишком уж ругать евреев, потому как те и другие похожи. Если у русского есть вера, то будет он стремиться к святости. Если веры нет, но есть совесть, то будет он честно строить и храбро воевать, а после бани в субботу выпивать с друзьями по маленькой. А если нет ни веры, ни совести, то будет он злым на весь мир лентяем и пьяницей.

\* \* \*

Чичиков — человек без веры и совести, но с честолюбием и образованием. Такой не сопьется. Но не из любви к добродетели, а из гордости. Для такого в мире всегда полно людей доверчивых, верящих на слово, не вчитывающихся в каждый пункт договора о купле-продаже. А значит — можно жить, причем неплохо. Мы пережили целый многолетний период чичиковщины с различными

*Чичиков: тип исторический*

МММ, с обманом вкладчиков, с быстрым обнищанием сотен тысяч людей и обогащением единиц. Павел Иванович жив, «жив курилка». Он растиражировался по миру и удивляет заморский люд своей изворотливостью и наглостью. Он теперь торгует не мертвыми плотниками и кузнецами, а живыми девушками для чужих борделей. Он научился разбавлять бензин водой и взламывать банковские счета.

Правда, нации потихоньку стираются и Чичиков уже не совсем русский. Он смешал в себе черты русского и еврея, но того и другого в их падшем — безверном и бессовестном — состоянии.

\* \* \*

Дорогой Николай Васильевич, нам было смешно, когда ты пел нам плачевные песни, и только спустя время мы поняли смысл этих песен. Да и все ли поняли?

Доброе у тебя сердце и острый у тебя взгляд. Оттого и все портреты твои грустны.

Однажды мы свидимся, и дай-то Бог, чтобы и тебе и нам эта встреча была в радость.



\* \* \*

Когда тело мертво? Когда душа его покинет.

А когда душа мертва? Когда она Господа забудет.

Умереть, в смысле — пропасть, душа не может. Но, отлучившись от Бога, уже не живет, а лишь существует.



# РЕВИЗОР И ЖУРНАЛИСТЫ



**Е**СЛИ отвлечься от сатиры, от всего, что первым бросается в глаза при прочтении «Ревизора», если взмыть над сценой и посмотреть на пьесу глубже, то она, конечно, пророческая. Уже современники заметили, угадали, что Хлестаков — это антихрист. Это мелкий бес (вернее — орудие мелкого беса), кратковременно призванный на царство и обласканный исключительно благодаря тотальной лжи, пропитавшей маленький и неизвестный городок. Не состояла бы верхушка из вора, сидящего на воре и вором погоняющая, не сознавая каждый из этих воров, что он виновен и, не ровен час, возьмут его за воротник, сидеть бы Хлестакову под караулом, а не собирать мзду с чиновников и не целовать в плечико жену городничего.

Уже одно это в пьесе представляет ее эсхатологическую ценность и открывает перед глазами зрителя одно из колесиков в механизме «тайны беззакония». Если весь мир не более чем город, пусть и сильно разросшийся, и если нравственный облик попечителей богоугодных заведений и почтмейстеров — соответствующий, то любой хлыщ может быть всемирно коронован на небольшой срок незадолго до наступления Настоящей Ревизии.

Но Хлестаков, сей любитель карт и искусный прожигатель отцовских денег, не только невольный самозванец, вынесенный на гребень чужими грехами. Он — Хам.

Большинству людей, попавших на его место, было бы так естественно испугаться разоблачения, поменьше болтать и побыстрее свернуть комедию, уехать. Было бы так естественно поблагодарить судьбу за милость (о благодарности Богу речи быть не может по многим причинам) и пожалеть своих смешных и глупых, погрязших в беззакониях невольных благодетелей. Ан нет. Ему никого не жалко, но все время смешно, если он не голоден. Позор городской элиты он не прочь

превратить в сюжет для публичного осмеяния. Этим целям служит слово печатное.

«Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько». Звучит имя петербургского товарища, властвующего над умами при помощи пера и чернил. В завитых бакенбардах и с тонкими усиками над верхней губой, он, вероятно, появляется в редакциях газет и газетенек с материалом в раздел «Происшествия». Он выводится в пьесе мельком, он — добавочный персонаж подобно последнему штриху в картине; подобно гвоздике, вставленной в петлицу уже надетого костюма. Но он важен. В нем отразилась эпоха.

Это, без сомнения, такой же хлыщ, как и Хлестаков. Во-первых, «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Во-вторых, сам Хлестаков, подписывая адрес, не знает, какую улицу указать, и замечает: «Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать».

Это один из тех вертлявых и нечестных малых, для кого чужой позор — источник заработка и тема для едких насмешек. «Уж

Тряпичкину, точно, если попадет кто на зубок, — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньги тоже любит».

Далее по сюжету, известному со школьных лет, последовало незаконное распечатывание и прочтение хлестаковского письма, производшее эффект разорвавшейся бомбы. Компания чиновников слышит о себе самые нелестные выражения. Один — «сивый мерин», другой — «подлец и пьет горькую», третий — «свинья в ермолке». Следует череда подробностей, изложенных со вкусом. Вот так же, хихикая и торопясь, бежал, вероятно, Хам к братьям рассказать об увиденной отцовской наготе. Радость, рожденная чужим позором, торопливые потуги всем побыстрее об этом рассказать. Была бы у Хама трибуна наподобие газетной полосы или телевизионной передачи, он не задумываясь взошел бы на нее.

Городничий в бессильном гневе говорит: «Сосульку, тряпку принял за важного человека! <...> Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши».

Тут оговоримся. Городничий с компанией достойны и кандалов, и смеха. Речь не о том, что нужно выстраивать высокий цензурный забор и за ним скрывать в неприкосновенности преступления власти. И сомнения нет в том, что подобные персонажи должны становиться предметом критики и сатиры. Но обратим внимание — нравственный облик обличителей ни на йоту не возвышен над обликом чиновников-воров. Смех обличителей — не ради правды и торжества справедливости. Их смех хамский. Им, как мокрицам, без сырости жить нельзя. В чистоте они мрут и в чистоте они не заинтересованы. И вот это уже совсем плохо.

Плохо, что язвительные писаки в принципе не способны врачевать болезни и не заинтересованы в этом, но лишь способны жить на открытых ранах, как кровососущие насекомые. Эти открытые раны — источник их существования.

И ведь боялись их, страшно боялись, поскольку знали — пощады от таких не жди. Нет еще ни скрытых кинокамер, ни звукозаписывающих устройств, ни всемирной сети. Все это еще не придумано и не создано. Есть

только бумага, послунявленная ехидством острых языков, и лишь она одна уже страшна и опасна.

Митрополит Филарет (Дроздов) высказывал мысль, что никакого ладана не хватит, чтоб перебить смрад, рождаемый ежедневной прессой. А мы сейчас что скажем?

Нет, врачу нужно тщательно перед операцией мыть руки. И жалеть больного надо, а не смотреть на его разъятое тело как на источник дохода или будущий труп. Нечто подобное требуется и от пишущего человека. Иначе всякий Хлестаков сам не прочь будет вооружиться пером и чернилами. Он так и заканчивает свое письмо: «Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь, наконец, пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться».

Можно без особого труда представить себе, что выйдет из-под пера Хлестакова, пишущего «для души».

\* \* \*

Юмор Гоголя — грустный юмор. «Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!..» — это ведь

не только о чиновниках и взяточниках сказано. Это и о пишущей братии сказано, хоть на первый взгляд и не так явно.

Вот мы и в притче о блудном сыне привыкли внимание сосредоточивать только на вернувшемся и смирившемся сыне да на Милосердном Отце. А там ведь еще старший брат есть. Черный от зависти, злой на доброту Родителя, отказывающийся войти в дом и принять участие в пиршестве по поводу возвращения брата, он не только достоин внимания. Он — так же важен, как и два ранее названных в притче лица.

Побочный персонаж перестает быть побочным, коль скоро мы переведем на него внимательный взгляд. Оказывается, он тоже важен, он хорошо узнаваем. В иных условиях и в другой ситуации он превратится в главного персонажа. И тогда только держись. Все от него будет зависеть и только вокруг него крутиться. Не правда ли, душа Тряпичкин?





# ОТКУДА РАСТУТ СТИХИ?



**О**ТКУДА растут стихи? У классиков, возможно, «из сора», причем «не ведая стыда». У обычных людей, пишущих четырехстопным ямбом в период полового созревания, стихи растут отовсюду. Еще у юноши не растут волосы в носу и на груди. Только верхняя губа и подмышки темнеют от первого пуха, а стихи уже растут отовсюду, и, не в пример классикам, все в них стыдливо и невинно. Глуповато, конечно, и наивно, но стыдливо и невинно.

Никакая военная история не сможет перечислить поименно всех погибших в той или иной войне. Большинство погибших останутся безымянными жертвами и неизвестными героями. История литературы тоже никогда

*Откуда растут стихи?*

не назовет имена тех, кто пробовал силы на литературном поприще, но исчез в круговороте истории не добившись известности, или опустил руки на половине пути, или вовремя умолк, трезво оценив свои силы.

Слава последним и горе тем, кто тычется с рукописями по редакциям, пишет письма, ропщет на Промысл за несправедливость и живет с мыслью о своей непризнанной гениальности, как клоун с прилипшей к лицу маской. Для таких людей мир несправедлив абсолютно. Как для Сальери из «Маленьких трагедий», для них «правды нет и выше». Насколько чище и здоровее добрый смех над собой. Когда уставший от жизни дядька, страдающий на пятом десятке от двух пудов лишнего веса, прочтет свои стихи, написанные четверть века назад, то странная улыбка искривит его лицо. Свежестью и глупостью повеет на него от этих пожелтевших листов, станет жалко протекших лет, станет стыдно, что этот лепет ему самому когда-то казался гениальным. Если дядька на пятом десятке может похвалиться наличием камина в доме, то самое время устроить стихотворному детищу аутодафе.

Самый обычный закон природы  
 Хлещет поэтов больней, чем кнут:  
 «Все, чем вы мучались год за годом,  
 Пеплом становится в пять минут».

Ну и чудно! Ну и слава Богу! Именно Богу слава, и никому больше. Авраам сына не пожалел и по слову Бога повел его на жертвенник. Сам положил единородного на дрова, сам одной рукой отвел подбородок, открывая беззащитное горло. Сам занес вторую руку с ножом высоко над головой, и... И только Тот, Кто Своего Сына послал в мир на страдание, только Тот, Кто тогда удержал Авраамову десницу, знает, что в эти секунды творилось в душе праведника. После всего этого что значит сжечь две-три тетрадки с рукописями? Сжечь ложную претензию на гениальность, отдать огню не сына юности и не плод чрева, а *песни невинности*, так и не ставшие *песнями опыта*?

«Я тебя породил, я тебя и убью». Эту Бульбину реплику имеет право произнести всякий художник. Как отец в архаическом обществе имел полноту военной, судебной и жреческой власти, так и художник должен владеть своими произведениями. Владеть, а не «цацкаться», не сюсюкать перед ними, не заискивать,

*Откуда растут стихи?*

как перед чем-то великим. Пусть «чаще поворачивается стиль», заглаживая написанное на мягком воске; пусть глина снова и снова слепливается в бесформенную массу после неудачных движений скульптора. Пусть бумага, хранящая следы сырого чувства, ложного пафоса или другого несовершенства, идет для растопки каминов или на самокрутки.

\* \* \*

Но все ли так плохо в наивных стихах, справедливо обреченных на безвестность? Нет, не все. В них именно то и хорошо, что они растут не «из сора». В них дышит чувство, наивное, но искреннее. Мэтры могут нанизывать слова, менять размеры и формы, ожидая, что смысл придет «сам собой», пробьется сквозь словесную ткань неожиданно, словно росток из асфальта. У них это временами получается, и тогда они считают — через них «язык жив».

Наивный поэт, подвигнутый первой любовью, первой потерей, первым знакомством с чужим мастерством на попытки гармонично высказаться, всегда идет от чувства к словам. Слов не хватает, они вылезают за пределы

строки, коряво рифмуются, пошло звучат, но все равно это — стихи.

Или выжги меня недугом,  
Или брось кораблем на рифы.  
Но прости, что умею думать  
Хоть какой никакой, а рифмой.

Дальнейшее зависит уже от умения думать. Даже не от умения (откуда ему взяться?), а от готовности отныне думать постоянно. Настырность мыслительного процесса, его неугасающее постоянство, помноженное на любознательность и раблезианский интеллектуальный аппетит, могут со временем дать кое-что на выходе. Так мне кажется.

Тот, кто не любит думать и не хочет учиться, бросит рифмовать «страдаю» и «умираю», как только повзрослеет еще на одну юношескую влюбленность.

\* \* \*

Человек должен понять свою жизнь, должен жить осмысленно. Но за свои пятьдесят-шестьдесят, даже за свои **«семьдесят, еще же в силах — осмьдесят»** понять себя человек не способен. Нужен опыт чужих жизней, что-

*Откуда растут стихи?*

бы, им обогатившись, стать старше на несколько (чем больше, тем лучше) жизнью. Этот чужой опыт зафиксирован в книгах, притчах, пословицах, песнях, былинах. Короче — в слове. Часто и подолгу бывая в этой лавке древностей, любитель слова рискует стать любителем знаний. А там уже рукой подать до любви к мудрости или любви к заблуждениям, но в любом случае это будет выход за пределы ограниченного личного бытия. Ты нырял в книги, чтобы подобрать слова для охватившего тебя чувства, а нашел больше, чем искал. Теперь в тебе хотят сомкнуться и стать одним потоком прошлое и будущее, а ты рискуешь стать проводником того, что они через тебя скажут.

\* \* \*

Кроме временных полюсов — прошлого и будущего, человек, заболевший поэзией, нуждается и в полюсах пространственных — пустыне и городе, то есть одиночестве и многолюдстве. Он должен как безумный по временам убежать от людей, чтобы думать, проговаривать, процеживать сквозь себя словесный шум. Наедине он ждет озарения и откровения.

Птицы в лесу и трава в полях смотрят на него с удивлением. Там, в одиночестве, понятное облекается в слово и слово претерпевает огранку.

Но потом нужно бежать назад, к людям. И не куда-нибудь, а туда, где могут выслушать и оценить, где могут выругать или стиснуть в благодарных объятиях. Нужно бежать в город. Там газеты и журналы. Там профессорские кафедры и сценические площадки. Там прокурорские кухни и споры до утра с членами тайного ордена под названием «друзья».

Так, между прошлым и будущим, между людской толчеей и одиночеством, колдуя над словом и стимул для творчества находя в зализывании собственных ран, живет тот, кто в семнадцать лет впервые срифмовал «ушла» и «нашла». И кому это надо, скажите на милость?

Нет, стихи юности надо сжигать, чтобы со спокойной совестью переквалифицироваться в управдомы. Их нельзя не писать, стихи. Они неизбежны, как детские болезни. Но делать их ремеслом и предлагать себя истории в качестве кандидатуры в гении не стоит. Если история и ее Хозяин остановят свой

*Откуда растут стихи?*

выбор на вас, то никому до конца не будет понятно, плакать о вас или спешить с поздравлениями.

Однозначно то, что, невзирая на уникальность прижизненного опыта, после смерти Ахматова и Пастернак уже не требуют, чтобы о них говорили возвышенно и шепотом. Они требуют православной молитвы «о упокоении душ усопших рабов Божиих Анны и Бориса».

Об остальных можно мыслить по аналогии.





# ЗВУКИ НЕБЕС, ПЕСНИ ЗЕМЛИ



**В** 2014-м — двухсотлетний юбилей Лермонтова. При всей хрестоматийности Лермонтов рождает удивительно свежий отклик в каждом новом поколении, и речь не об одних лишь стихах. Проза его — «Герой нашего времени», — по признанию учителей литературы, одна из самых читаемых книг в школьном списке. К написанному и сказанному о Лермонтове прибавлено немало...

Помянем поэта и мы.

Трудно называть его Михаилом Юрьевичем. Двадцать шесть лет к моменту смерти — всего лишь...

Корнями Лермонтов уходит к шотландцам, и, может статься, косвенно отослано к нему стихотворение Мандельштама:

Я не слышал рассказов Оссиана,  
Не пробовал старинного вина;  
Зачем же мне мерещится поляна,  
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы  
Мне чудится в зловещей тишине,  
И ветром развеваемые шарфы  
Дружинников мелькают при луне!

Перекличку ворона и арфы Лермонтов не слышал, но что-то ему явно мерещилось, и не раз. В его роду вроде бы были барды, смотревшие на поэзию как на экстаз и озарение (разумеется, в языческом понимании). А на его родовом гербе написано: «SORS MEA JESUS», то есть: «Судьба моя Иисус». Если у человека кровь барда, а судьба его — Иисус, то без трагического разделения не обойтись. Таков он и есть, молодой человек Михаил Юрьевич, одновременно и гениальный, и трагически разделенный.

Поэт раздвоенности — так можно его охарактеризовать. Вчитайтесь-ка в эти строки:

Ни ангельский, ни демонский язык:  
Они таких не ведают тревог,  
В одном все чисто, а в другом все зло.  
Лишь в человеке встретиться могло  
Священное с порочным. Все его  
Мученья происходят оттого.

Вот это диагноз! Вот это рентген! А ведь это строки из безымянного стихотворения, озаглавленного датой: 11 июня 1831 года. То есть автору нет семнадцати! А между тем мы видим семя для будущей фразы Достоевского о борьбе рая и ада на поле души человеческой. «Лишь в человеке встретиться могло...» Такое прозрение вымучивается, дарится наперед, дается за что-то или для чего-то? Вопросов много. Ответов нет даже у самого Лермонтова. Он не врач. Он сам мучается.

В том же 1831 году были написаны и эти бессмертные строки:

По небу полуночи Ангел летел,  
И тихую песню он пел;  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов  
Под кущами райских садов;  
О Боге великом он пел, и хвала  
Его непритворна была.

Обратим внимание вот на эти чудесные слова: «О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была». Непритворную хвалу Великому Богу многие считали невозможной, относя всякую молитву к области лицемерия.

Лермонтов же эту хвалу слышал явно или чувствовал. Он всегда был отчужден, одинок. Но, в отличие от байронизма, толкующего одиночество как чувство возвышенной души в окружении плебеев, Лермонтов проговаривается об иных истоках отчужденности. Это — память об иных звуках! Слышится Розанов: Иисус сладок — мир прогорк.

Лермонтов, конечно, горд. В ту пору все поэты горды и взвинченны и пишут о Каине, демонах и роковых страстях. Но мальчик Лермонтов (как называет его Ахматова) проговаривается о другом. Его грусть — от несоответствия «звуков небес», оставшихся в памяти, и «скучных песен земли», звучащих отовсюду. Причем скучны и мазурка, и краковяк. По-нынешнему скучны и панк-рок, и тяжелый металл. Скучны они на фоне «звуков небес».

Он душу младую в объятиях нес  
Для мира печали и слез,  
И звук его песни в душе молодой  
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна;  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Вспышки прозрений могут ослепить, а высота восхождений может стать причиной падения. Так понятная двойственность человека и столь сильно по временам звучащая в душе Лермонтова небесная песня — на кого делают его похожим? Господи, помилуй! На демона.

Демон знает толк в красоте. Он помнит райское пение. Ему претит мышьяная возня, и он пользуется ею лишь в целях управления людьми, да и то — с презрением. Демон по-своему возвышен, но горд и нераскаян. Михаил Юрьевич заморожен этой темой. Влюбиться он может только до момента срывания цветка. Потом — горечь и отвращение. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, / Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...»

Он не первооткрыватель. Вся та эпоха жила в поэтическом плену у Байрона, а тот — у Мильтона. Пройдет еще немного времени, и бес будет выведен Достоевским как «человек ретроградный и приживальщик». Достоевский снимет с беса маску, укажет на его нравственное безобразие и внутреннюю мелкость. А пока демонизм в чести. Это синоним гордости, буйства страстей, возвышенности, отгалкивающейся от низкого быта, и прочее. Лер-

монтов — раб этого идеологического коктейля. Он долго пишет и переписывает о демоне целую поэму, где бес — скорее мучающийся интеллигент с крыльями, а не умный дух небытия. В XX веке лермонтовский демон окончательно превращается в Клима Самгина, сеющего вокруг семени уныния и разрушения и не знающего, зачем он живет. Зато уйдя из литературы, демоны вошли в жизнь и уже не желают отсюда уходить.

Вершина зрелости — проза. Не умри Пушкин так рано, полнее сбылось бы его пророчество о себе: «Лета к суровой прозе клонят». А вот Михаил Юрьевич состоялся как прозаик, хотя по годам ему еще, казалось бы, учиться и учиться. Его «Герой нашего времени» и воздушен, и опасен, и актуален. В пользу актуальности — переименование во Львове улицы Лермонтова в улицу Джохара Дудаева. Дескать, получи-ка по смерти за то, что на Кавказе воевал.

А еще он был художник, совсем как Шевченко. Только у первого — личное томленье и сплошной экзистенциализм, а у второго — пафос народного блага, часто убивающий художника и без дуэли. Лермонтов также и храбрый

вояка, ходивший на Шамиля. Его отчаянная храбрость засвидетельствована многими, а стихи вроде «Валерика» или «Бородина» — знак личного взгляда смерти в глаза задолго до самой смерти. Поэт-солдат? Это же Денис Давыдов. Да, но кто его изучает в школе и чему можно у него научиться? То ли дело — Лермонтов!

И отравлен демоническими мотивами, и горд, и двусмыслен, и неспокоен. Но сколько же всего принес в школьную хрестоматию?

«Спор», «Три пальмы», «Ветка Палестины», «Я, Матерь Божия», «В минуту жизни трудную», — да и почти весь, весь этот «вещий томик», — словно золотое наше Евангелище, — Евангелище русской литературы, где выписаны лишь первые строки» — это Розанов о Лермонтове.

А вот Ахматова о нем: «Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актера называют «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы. Слова, сказанные им

о влюбленности, не имеют себе равных ни в какой из поэзий мира. Это так неожиданно, так просто и так бездонно:

Есть речи — значенье  
Темно иль ничтожно,  
Но им без волненья  
Внимать невозможно.

Если бы он написал только это стихотворение, он был бы уже великим поэтом».

Действительно, сколько неподдельного лиризма у этого мальчика, который вызвал бы меня на дуэль, назови я его при жизни мальчиком. Вызвал бы и убил бы, как убил его самого оскорбляемый неоднократно Мартынов. (О гении, молю вас: будьте осторожны!)

Иные пишут, пишут, а детям из них не прочтешь ни строчки. А тут:

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана;  
Утром в путь она умчалась рано,  
По лазури весело играя;  
Но остался влажный след в морщине  
Старого утеса. Одиноко  
Он стоит, задумался глубоко,  
И тихонько плачет он в пустыне.



Плачем тихонько и мы, в том числе — о смерти глупой, безвременной, как бы выпрошенной. Конечно, он неизбежно пророк. Пусть даже пророк собственных несчастий, равно как и творец их. Вот он и пишет благодарность Богу из глубины своей не по годам уставшей души, где просит ранней смерти:

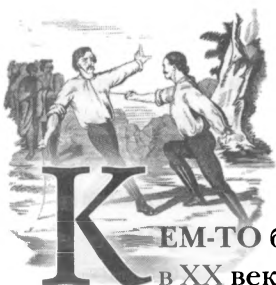
...За жар души, растроченный в пустыне,  
За все, чем я обманут в жизни был...  
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне  
Недолго я еще благодарил.

То есть — за все Тебе спасибо, но забирай меня быстрее.

Под стихотворением дата: 1840. Совсем скоро — в июле 1841 года — у подножия горы Машук состоялась дуэль поэта с человеком, уставшим сносить его едкие насмешки и уколы. Лермонтов стрелял в воздух, Мартынов — в цель. Рана, нанесенная им, оказалась смертельной.



# ЧЕСТЕРТОН, ЛЬЮИС, АНТОНИЙ



**К**ЕМ-ТО было удачно подмечено, что в XX веке среди всех проповедников Евангелия в Великобритании (а их там в то время было немало) лишь голоса троих были расслышаны и глубоко приняты. Эти проповедники: Честертон, Клайв Льюис и митрополит Антоний (Блум).

Стоит присмотреться к этим трем «последним из могижан», поскольку именно в трудах, подобных тем, что понесли они, нуждается любое общество, сохраняющее свою связь с Христом и Церковью.

\* \* \*

Честертон и Льюис — миряне. Они не занимают никакого места в иерархии, не связаны

корпоративной этикой, на них не лежит печать школьного, специального образования. Поэтому они специфически свободны. Там, где епископ и священник трижды оглянутся на мнение вышестоящих, на возможный общественный резонанс и прочее, эти двое говорят что думают, подкупая слушателей простотой и смелой искренностью. Они говорят не в силу необходимости, не в силу обязательств, наложенных саном и положением в обществе, а в силу одной лишь веры и сердечной обеспокоенности. Невольно вспоминается наш отечественный «рыцарь веры», как называли его с уважением даже враги, а именно — Алексей Хомяков. Он боролся за Церковь не потому, что окончил академию, а потому, что жил в Церкви и Церковью. В области учения о Церкви никто из иерархов не был так свеж, как этот мирянин.

\* \* \*

Впрочем, Хомяков, хотя и поэт, в богословии был именно богословом, а отнюдь не богословствующим сочинителем. Он писал не статьи и очерки, а большие, серьезные труды. Честертон же и Льюис богословами были вряд

ли. Каждый из них начинал как поэт. Но известность они приобрели: один — как журналист, эссеист и критик, другой — как писатель и истолкователь христианских основ, некий катехизатор с академическими знаниями.

В отличие от них обоих, митрополит Антоний — не писатель и не профессор, не журналист и не полемист. Он — свидетель. Его слова — это всегда свидетельство о том, что, казалось бы, известно с детства. Но владыка-митрополит умеет всегда дать известному ту глубину, на которую редко кто нырял. Прочувствованно, с большой силой достоверности, проистекающей из личного опыта и глубокой убежденности в правде произносимых слов, он всякий раз открывает слушателю Евангелие заново. Слово Божие в его устах никогда не сухо и никогда не скучно. Он не размахивает цитатами, словно дубиной, устрашая несогласных. Но он возливает слово, как елей, он врачует души от язв неверия, суетности, безответственности.

\* \* \*

Все трое не родились христианами, но стали ими. Каждый из них способен на честный

рассказ о своих сомнениях, о поиске Бога и обретении Его. Эта подкупающая честность способна прикоснуться к самой сердцевине современного человека, который боится традиции, для которого христианство «слишком отягчено» грузом минувших эпох. Изнутри традиции, не отвергая ее вовсе, скорее утверждая, трое благовестников воскрешают чувство евангельской свежести. В их устах Новый Завет поистине Новый, а Евангелие — благая весть, и лучше не скажешь.

\* \* \*

Любопытно, что, в отличие от Честертона и Льюиса, митрополит Антоний ничего не писал. Он действовал сократически, спрашивая, отвечая, замолкая по временам и размышляя вслух перед лицом Бога и собеседников. Это потом его речи превращались в книги благодаря усилиям друзей и почитателей. Благо он жил в эпоху средств аудиозаписи и усилия скорописцев не требовались.

Кстати, об эпохе. Технический прогресс, увеличение народонаселения, распавшаяся связь времен и общее смятение. Кто не ругал новейшую историю и духовную дикость

современного людского муравейника? «Железный век — железные сердца». Но эта эпоха все же позволяет тиражировать речи мудрых с помощью технических средств и доносить эти речи до тысяч и миллионов слушателей.

\* \* \*

По-хорошему нужно, чтобы в каждом городе был свой митрополит Антоний, в каждом университете — свой Льюис и в каждой газете — свой Честертон. Но это — по-хорошему. А если по-плохому? А по-плохому люди такие являются редкостью и была бы для многих непоправимой утратой та ситуация, при которой их слышало бы только ближайшее окружение. В средние века при неграмотности большинства паствы, при дороговизне книг и отсутствии массовых коммуникаций все зависело от возможности послушать мудрого человека вживую. Сегодня, удаленные друг от друга временем и расстояниями, мы можем назидаться благодатным словом при помощи книг и различных аудио-видеозаписей. Все трое это понимали. Все трое в разное время и с разной интенсивностью выступали по радио с беседами, лекциями и проповедями.

Они, то есть, вполне современные, чтобы быть понятыми живущими ныне, и вполне устремлены в вечность, чтобы не угодать минутному вкусу, но защищать Истину или возвещать ее.

\* \* \*

Нам нужны эти трое, конечно же с другими фамилиями. Нужны фехтовальщики, подобные Честертону, готовые извлечь из ножен отточенную шпагу неоспоримых аргументов и принудить к сдаче любого скептика или недобросовестного критика, хулящего то, чего не знает. Этот формат наиболее подходит для всех видов журналистики.

Нужны профессора, гораздо уютнее чувствующие себя в компании древних рукописей, нежели на автобусной остановке. Эти, зовя на помощь бесчисленный сонм живших ранее писателей и поэтов, способны представить взору людей, учившихся «чему-нибудь и как-нибудь», христианство как плодотворную силу, во всех эпохах зажигающую сердца и дающую радость.

Нужны, наконец, епископы, способные говорить о Христе, глядящие на стоящего ря-

дом не сверху вниз, а лицом к лицу, не как учащие, а как независтно делящиеся Истиной.

\* \* \*

Эти трое нужны для общества, считающего себя образованным и умным; общества, да же несколько уставшего от своего всезнайства и, подобно Пилату, пожимая плечами спрашивающего: *Что есть Истина?* Для простых людей нужны простые проповедники. Но простота исчезает. На ее место приходит недоучившаяся спесь, всегда готовая спорить с Богом по причине недоученности. Приходит привычка произносить легкие слова о тяжелых темах и давать чужие, лично не выстраданные ответы на вечные вопросы. Вот им-то, людям, заразившимся метафизической несерьезностью, и полезно было бы за одним из жизненных поворотов повстречать кого-то из этих трех: Честертона, или Льюиса, или митрополита Антония. С другими фамилиями, конечно.





# НОВОЕ ИЛИ СТАРОЕ? РАЗГОВОР О ФАНТАСТИКЕ



**К**АК жанр литературы и кинематографа фантастика давно занимает одно из первых мест в сознании читающего и смотрящего в экран человечества. Она родилась, наверно, из ощущения скучности и привычности окружающей жизни, из вечной жажды необычного, которая есть в человеке. Ведь призваны мы к тому, чего не видел глаз, не слышало ухо и на сердце человека не всходило (см.: 1 Кор 2, 9). Вот и мечтает человек до времени о том, чего не видел, поскольку уму и сердцу тесно на земле. Но в то же время фантастика родилась из очерствения, когда окружающие чудеса стали незаметны, скрылись от взора.

Человека перестало удивлять то, что в его малой голове помещается и вкус, и слух, и зре-

ние и одно другому не мешает. Перестало удивлять то, что созданное неведомо когда небо до сих пор как новое, хотя разрушились здания, сместились континенты... Ты не знаешь путей ветра и то, как образуются кости в животе беременной, говорил Екклезиаст. Человеку было чудно и интересно все, что его окружало. Способность удивляться, кажется, Шпенглер назвал философским даром. И вот, когда человек перестал быть философом и превратился в конторского служащего, ему захотелось придумать тот мир, которому можно удивляться.

Как ни странно, ничего принципиально нового человек выдумать не может. Он мечтает в категориях сотворенного мира, который не в силах изменить. А значит, выдумать можно только ну очень сильного богатыря или очень быструю лошадь (ракету, автомобиль... — возможны варианты). Ничего по-настоящему нового мысль человеческая создать не в силах. Есть нечто, о чем говорят — смотри, это новое. Но это только забытое старое (Екклезиаст).

Помести человека мысленно хоть на Марс, хоть на край галактики; перебрось его назад

в доисторические джунгли или в холодный сумрак древних храмов — везде фантазия вынуждена будет наделить человека страстями: ревностью, гордостью, жадностью... Фантастический человек будет (все равно — мечом или бластером) драться, будет бояться за жизнь, будет кого-то любить и скучать о ком-то. Это все равно будет земной человек, и вся фантастика ограничится антуражем. Ах, если бы мы это понимали! Мы бы повторили слова премудрого: нет ничего нового под солнцем.

Самое фантастическое — это всегда самое реальное, причем близкое к нам, а не далекое. Новое, если честно, под солнцем есть. Это Дева, родившая и оставшаяся Девой. Это Распятый и Воскресший. Это то, чего нельзя выдумать, то, что никогда не появилось бы в сознании, если бы не случилось как факт. Соответственно, Евангелие — это самая фантастическая фантастика. Именно потому, что оно же — самая реальная реальность.

Но разговор о фантастике, неизбежно приходящий к Евангелию, можно при желании продолжить, а не закончить на этой ноте. Дело в том, что были и есть писатели и режиссеры, которые намеренно прибегали к этой

форме творчества. Одни — потому, что таким образом хотели завлечь читателя (зрителя), зная о его испорченном вкусе. Другие — потому, что эта форма позволяла говорить правду в тех условиях, где за правду сажали.

Например, Андрей Тарковский, режиссер, которого интересовали только реальные вещи, несколько раз снимал фильмы на фантастические сюжеты. По мотивам произведения С.Лема «Солярис» и по мотивам романа братьев Стругацких «Сталкер». Авторы произведений тоже относятся к писателям, для которых фантастический сюжет — всего лишь упаковка. А фильмы — что ни на есть о вечном. «Солярис» — о возвращении к Отцу, о вечности моральной ответственности, «Сталкер» — о существовании Святого Святых, в которое не могут попасть ни наука, ни искусство, но только люди не от мира сего. Вот такую фантастику можно похвалить.

Из писателей-фантастов хочется выделить и Рея Бредбери. Он пишет для современного человека о вечных и прописных истинах, для человека, который уже живет в фантастическом мире, далеко превосходящем фантазию Жюль Верна. Мне очень

нравится роман «451 градус по Фаренгейту». Он изображает мир на пороге ядерной катастрофы, мир, в котором люди перестали общаться и совсем перестали читать. Сначала не было времени (суета, знаете ли), потом книгу заменил телевизор, потом он разросся во всю стену, и т.д. до тех пор, пока телевизор не занял все четыре стены, а книги не стали сжигать за ненужностью.

Приходящие ежедневно в твой дом с экрана люди стали ближе, чем домашние. Встречи с ними стали желанными, к ним спешили после работы. Подозрительным стал каждый, кто слишком долго разговаривал с соседом на улице. Люди стали внушаемы и вменяемы для всего, что говорилось с экрана. Те, кто осмеливался хранить дома какую-то книжечку, могли заплатить за это свободой или жизнью. Те, кто раньше тушил пожары — пожарники, — теперь из-за новых технологий лишились привычного занятия (новые материалы не горят). Их работой стал розыск и сжигание еще где-то у кого-то сохранившихся книг.

И вот роман развивается вокруг одного такого пожарника, который утаил одну из запрещенных находок, прочел ее и почув-

ствовавал конфликт с привычным до сих пор миром. Человек очень быстро попал в роль опасного для общества преступника. Он бегством спасается от погони (что очень тяжело, ведь кругом кинокамеры, и в далеком «мозговом центре» ежесекундно видно каждого жителя цивилизации). Став изгоем, он находит таких же, как сам, с той лишь разницей, что новые знакомые являются хранителями нематериальных сокровищ. Каждый из них помнит наизусть какую-нибудь жемчужину мировой культуры: один помнит половину «Евгения Онегина», другой — «Песнь Песней», третий — «Шахнаме» и т.д. — послания апостола Павла, «Исповедь» блаженного Августина...

Эта картина — по сути, изображение того, как мир с улыбкой выгоняет вон всех с собою не согласных. Так христиане древности были в глазах мира опасными злодеями и собирались на молитву по ночам в пустых местах. Так христиане будущего укроются на малое время от цивилизации антихриста, унося с собой в памяти сохраненные псалмы и молитвы.

Вот это та фантастика, которая мне по душе. Замятин, Оруэлл, Тарковский, Бредбери,

Стругацкие — вот начало того большого списка авторов, которые трудятся не для того, чтобы человек плыл по течению, приятно проводя время, а для того, чтобы остановиться (как сказано у Иеремии), осмотреться, найти путь хороший и идти по нему.



# ОБ ОДНОЙ ЦИТАТЕ ИЗ ДОСТОЕВСКОГО



**М**НЕ жаль великих. Их так легко разоб-  
рать на запчасти и использовать не  
по назначению. Впервые эта мысль и связан-  
ное с ней чувство я ощутил много лет назад,  
а поводом послужила надпись над входом в ка-  
фе. «Дон Кихот» называлось кафе, и оформле-  
ние надписи было соответствующим.

Рыцарь Печального Образа, как и подоба-  
ет, был изображен с глазами, полными возвы-  
шенной скорби. Голову его украшал «шлем  
Мамбрина», переделанный из старого таза,  
как повествует Сервантес. Двери под вывеской  
то и дело растворялись и затворялись, впуская  
и выпуская посетителей. Заходившие были  
голодными и трезвыми, и в карманах у них  
были деньги. Карманы выходивших, надо



полагать, были значительно облегчены, зато их владельцы были сыты и веселы. То есть процесс обмена денег на еду, питье и попутные услуги совершался внутри заведения в полном соответствии с экономической теорией.

Все посетители были взрослыми людьми, некоторые в детстве читали Сервантеса. Все по крайней мере слышали это имя. Но вряд ли кто-то из них перечитывал книгу о Дон Кихоте во взрослом возрасте, и, думаю, от этого изображение над входом было особенно печальным. А ведь роман Сервантеса считается одним из самых значимых литературных произведений второго тысячелетия. «Есть эпохи, превращающие тазы в рыцарские шлемы, и есть эпохи, пользующиеся рыцарским шлемом, как тазом», — подумалось тогда. Может, это подумалось и не тогда, а позже, но вскоре меня опять кольнула жалость к великим — великим авторам и великим произведениям. Жалость вновь была связана с наружной рекламой над торговым заведением.

\* \* \*

Теперь это уже был магазин сантехники, и назывался он «Кармен». Гордая испанка бы-

ла изображена на витрине в танцевальном изгибе. Только три цвета использовал художник — красный, черный и белый, и очень хорошо у него получилось при минимуме выразительных средств передать в скупых и быстрых линиях и огонь страстей, и неизбежность гибели тех мотыльков, что летят на пламя. Я тогда ехал в троллейбусе и смотрел в окно. «Кто читал Мериме или смотрел хорошую экранизацию, — думал я, — теперь может до самой конечной остановки вспоминать произведение и размышлять о нем. А кто не читал?..» Троллейбус катил по асфальту, пассажиры на остановках входили и выходили. «А кто не читал, — мелькнула мысль, — для того было бы лучше изобразить испанку сидящей на унитазе (все-таки магазин продает сантехнику), и тогда не важно, как ее зовут: Изабелла, или Долорес, или все-таки Кармен».

И опять стало немного не по себе оттого, что один человек страдал, думал, боролся, книги писал, а другой человек лет через двести назвал его именем, к примеру, крем от прыщей.

\* \* \*

Дон Кихот. Кармен. Испания.

Я не был там. Там «воздух лавром и лимоном пахнет». Там происходит действие «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского. Федор Михайлович-то мне и нужен. Я к нему подбираюсь. Он тоже страдалец. Его, вопреки всей сложности и пронзительности, тоже пристроили под карманный цитатник. Под буквой «Ш» в цитатнике – Шекспир. Напротив Шекспира – «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Напротив Достоевского – «Красота спасет мир».

Эти слова произносятся так часто и так некстати, что скоро нужно будет облагать денежным штрафом всех, кто произносит эти слова не зная произведения, из которого они взяты, и смыслового контекста. Поскольку слова «красиво» и «красота» универсальны и могут относиться и к забитому голу, и к пейзажу из окна элитной новостройки, и к дефиле по подиуму, то слова Достоевского о красоте прищипливаются с легкостью к сотням несоответствующих явлений. Я сам во время оно слышал эти слова в рекламе мужской демисезонной обуви.

А реклама – это вам не шутка. Это гвозди, забиваемые в сознание. И нигде ты не най-

дешь и не купишь клещи, чтобы потом эти гвозди вытягивать. Такие инструменты как раз не рекламируются.

\* \* \*

Достоевский неоднократно говорил о том, что в красоте есть тайна. Вслед за Гоголем он также говорил, что человеческая красота двусмысленна. У нас нет ни сомнений, ни смущений при виде того, как на рассвете «купается Солнце». У нас восторгом перехватывает дыхание, когда мы поднимаемся в горы или стоя на берегу ощущаем дыхание океана. Эта и подобная красота, красота природы — указующий перст на Великого Бога. Но красота человеческая действительно двусмысленна. Она способна действовать магически, а значит, подчинять, давать власть. В соединении с пороком красота способна превращаться в оружие разрушения и даже массового поражения. Все это Достоевский прочувствовал на глубинах, требующих максимального погружения. «Смазливая мордашка» и «красота» в его системе координат — это не просто разные планеты, но планеты разных Солнечных систем.

\* \* \*

Для того чтобы красота начала спасать нас, нам нужно сначала потрудиться ради ее спасения. Ее, красоту, действительно саму надо спасать, пока не поздно. А может, уже и поздно. Ведь живут уже давно своей жизнью и мир пошлой антиэстетики, и мир открытого поклонения безобразному, и просто мир, нарочито отказавшийся отличать прекрасное от уродливого и хорошее от плохого.

\* \* \*

Красота не должна рассматриваться изолированно, сама по себе. Свой истинный смысл она обретает только в связке с Добром и Истиной. Словно Три Ангела на рублевской «Троице», эти три понятия — Истина, Добро и Красота — должны образовывать живое и динамическое, нерасторжимое единство. Изолированные же; они вначале слабеют, а потом испаряются.

Мы справедливо возмущаемся, если нам проповедуют Истину, но не подтверждают ее Добром, а ставят под сомнение злодейством.

Мы не верим в прочность того добра, которое творится ради выгоды, ради похвалы, ради далеко идущих корыстных целей. Мы (христиане) научены признавать лишь то Добро настоящим, которое сделано ради Истины, то есть Бога.

Точно так же и красота, не служащая Истине и не творящая Добра, есть лишь маска и бесовский обман. Она не являет Лик и не имеет лица, но имя ей — личина.

Снежная Королева, несомненно, красива, но она не добра, и поэтому ее красота — лишь убийственная приманка.

Музыка Моцарта, быть может, более всего подпадает под определение прекрасного. Но вот кадры Второй мировой, где комендант концлагеря — эстет, и узники идут длинными колоннами и исчезают в газовых камерах под музыку. Квартет заключенных играет Моцарта.

Наше нравственное чувство бунтует. Душа не просто отвращается от ужаса, сопровождающего убийство. Душу выворачивает от неестественного сочетания эстетства и жестокости. Так изолированное «прекрасное» способно подчиняться злу и превращаться в нечто запредельно отвратительное.

\* \* \*

Мысль о триединстве Истины, этики и эстетики развивал и доказывал Владимир Соловьев. Упоминание об этой проблематике есть у него и в речах памяти Достоевского. Налицо некая духовная эстафета: Гоголь — Достоевский — Соловьев.

Всех троих мучила внутренняя рассеченность человека, при которой человек способен мыслить одно, говорить другое, а делать третье. Мучило Гоголя то, что «в добре нет добра». Достоевского — что есть «своя красота» в Содоме, и многие не в силах этому соблазну воспротивиться. Соловьев же пытался эту проблематику осмыслить и выразить не художественными образами, а чеканным и ясным языком философских понятий. Все трое видели цель жизни как преодоление разделенности и достижение целостности в Боге и в служении.

Эта оставленная ими перепаханная мысленная нива — не ученые упражнения кабинетного ума. Это очень жизненные вопросы, встающие перед лицом отдельных людей, целых народов и поколений. При несерьезном отношении к жизни люди обречены те-

*Об одной цитате из Достоевского*

рять последние остатки стремления к Добру и чувства прекрасного. Люди обречены тогда терять и, наконец, совсем потерять Бога. Инфернальные пары пропитают тогда земную реальность, и в этом угаре уже невозможно будет увидеть лицо человеческое. Все, что увидит человек, будет помесью звериной морды и бесовской рожи.





# СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ



**В**СЯКИЙ вид художественного творчества оправдывает себя в высших своих творениях. То есть существуют картины, о которых говорят: «мазня». Есть музыка, которая режет слух и смущает душу. Но есть произведения искусства, возле которых простой человек замирает в благоговении и которые творческий человек считает смыслом и оправданием творчества. Можно сказать, что храм Покрова-на-Нерли оправдывает церковную архитектуру в качестве самостоятельной и особой формы благовествования. Это не просто дом молитвы. Этот храм даже и без церковной службы в долгие годы атеистического засилья говорил людям о Боге и призывал к молитве. Такова сила церковно-

го искусства. Руки и сердце верующего человека — зодчего, иконописца, звонаря — заставляют и камень, и медь, и краску прославлять Господа.

Фильм, о котором пойдет речь, тоже можно назвать «оправданием кинематографа». Просмотр фильма «Андрей Рублев» — это такой же труд, как чтение хорошей книги. Фильм не каждому скажет много, и икона понятна не всякому, но, во-первых, молящемуся, а, во-вторых, тому зрителю, который посвящен в язык иконописи.

Это фильм о преподобном иноке Андрее и о его наиболее известном творении — высшем творении иконописи — иконе «Ветхозаветной Троицы».

Об этой иконе умница Флоренский сказал: «Если есть “Троица” Рублева — значит, есть Бог».

Икона появляется только в конце фильма. И это единственные цветные его кадры. Весь остальной фильм нарочито черно-бел. При почти неизвестной биографии Андрея Рублева фильм, хотя и назван его именем, является вовсе не киножитием, а масштабным полотном русской жизни в XIV–XV столетиях.

Русь не умеет спорить. Культура публичных споров и дебатов глубоких корней на Руси не имеет. «Православие не доказуемо, а показуемо» — вот мысль, глубоко укоренившаяся в сердцах русских людей. Но сама жизнь Руси полемична. Для христиан Запада мы дикари. Для бескрайних степей Азии и непроходимых гор Востока мы «люди Писания». Наша жизнь — вызов и тем и другим. Фильм «Андрей Рублев» тоже во многом полемичен.

В начале фильма, оторвавшись от перил колокольни, мужик летит на самодельном «воздушном шаре». Даже в XIX веке это считалось дерзостно. Во времена же Рублева это было богохульством. Не в силу святости и не руками ангельскими, а хитростью и выдумкой полететь над землей — это был вызов.

Мужик неизбежно падает и разбивается. Но событие происходит до Леонардо, до его чертежей парашютов и вертолетов, вне всякого общения и обмена мнениями с образованным Западом.

...Нам внятно все — и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений...

А в конце фильма, когда уже отлит, освящен и подал голос новый колокол, флорентийские послы наблюдают за церковным торжеством. Копыта их дорогих коней месят грязь русской распутицы, и изящная речь Италии покрывается мощным голосом нового колокола. Если между двумя этими, крайними в фильме, эпизодами натянуть воображаемую нить, то она окажется стержнем, на котором держится здание всего произведения.

## МОНАХИ

**Т**руд актера требует приближения, слияния, почти тождества со своим персонажем. Нужно буквально перевоплотиться в изображаемое лицо. Из-за мастерски сыгранной роли можно реально заболеть болезнью своего персонажа; можно повторить его (ее) жизнь, ошибки. Это вызывает к жизни ряд вопросов. Насколько совмещается труд актера с христианской верой? Калечит ли душу актера многообразное «проживание» чужих жизней?

Намеренно обойдем эти вопросы ради другого, а именно: как сыграть святого?

Вжиться в образ любого грешника принципиально проще, ибо всякий из нас, без сомнения, грешен. Мы можем играть обиду, зависть, похоть, ложь, так как имеем избыток опыта по этой части. А вот как правдоподобно и естественно изобразить целомудрие, незлобие?

Никита Михалков, снимая «Сибирского цирюльника», поселил актеров в военном училище, заставил «влезть в шкуру» юнкера, чтобы правдиво показать последнего на экране.

Но как быть с монахами? Как снять фильм таким образом, чтобы не было стыдно за наклеенные бороды и неуклюжие благословения? Чтобы слова «спаси, Христос» и «Господи, помилуй» не вызывали у неверующих смех, а у верующих обиду?

К чести режиссера и ради светлой его памяти надо сказать: в те советские (!) годы Тарковский чудом исполнил эту творческую задачу. За иноческие образы фильма не стыдно. Глядя на них, не морщишься и не краснеешь.

Сильный духом игумен, побежденный завистью Кирилл, спутник Андрея Даниил Черный — все это лица реальные, живые, какие всегда были и есть среди нас. При этом акте-

ры не жили в обителях и были, неизбежно для тех лет, далеки от богослужения (!).

В особенности гений Тарковского очевиден в показанном им отрицательном образе монаха. Когда мы говорим о Церкви, то правда жизни требует разговора и о явлениях болезненных. Священное Писание говорит нам открыто о грехе Давида, об отречении Петра, о предательстве Иуды. В притче о засеянном поле мы видим врага, сеющего плевелы. И плевелы, и пшеница растут вместе до Жатвы, то есть до Страшного Суда. Изображая Церковь, плевелы обойти невозможно.

Итак, Тарковский показывает нам побежденного страстью монаха Кирилла. Духовная болезнь Кирилла — зависть. Этот момент тоже полемичен. Дело в том, что на Западе греховное падение духовного лица почти всегда — блуд. Блудная связь монаха или патера — тема бесчисленных насмешек в духе «Декамерона» или драм, таких как «Овод», «Поющие в терновнике» и прочих. И дело не в том, что православное духовенство от блуда застраховано. Это, к сожалению, вовсе не так. Дело в том, что плотское преткновение или падение не отражает всю глубину греховности. Глубину

греховности обнажает гордость и ее исчадия: зависть, ненависть, коварство...

Святой Иоанн Лествичник говорит о том, что монаха более всего преследуют гордость, тщеславие, а мирянина — стяжательство, земное попечение.

Тот художник, который понял это и изобразил, велик. Велик Достоевский, оттенивший образ старца Зосимы образом прельщенного и беснующегося Ферапонта. Велик Тарковский, чей Кирилл говорит Феофану Греку: «Работать я задаром буду. Ты только при всей братии и при Андрюшке Рублеве сам меня к себе возьми».

Не достигший желаемого и сильно уязвленный завистью, он начинает всех вокруг обличать «от Писаний» и уходит из обители после строгих слов отца игумена.

Сцена эта, быть может, лучшая в отечественном кинематографе из всего, что касается Церкви.

## ЯЗЫЧЕСТВО

**П**о дороге к князю на роспись новопостроенного храма Андрей становится свиде-

телем языческого праздника. Не в Египте и не в Индии, а у нас, на Руси, спустя несколько веков после Крещения глазам православного монаха открывается вакхическая оргия. Огни, свирели, пляски, похоть... Все это без удержу, но пополам со страхом: церковная и светская власть жестоко преследует безбожников.

Преподобный заглянул в изнанку народной жизни. Этих людей можно было бы в другое время увидеть в храме, или в поле за работой, или среди домашних дел. Они были наверняка крещены и являлись православными христианами. Но язычество не умерло для них. Язычество вообще не умирает тотчас по ниспровержении идолов. Как мироощущение, как образ жизни оно живуче. В XX веке по Рождестве Христовом Василий Розанов дерзнул противоречить Тертуллиану. «Душа по природе — христианка», — сказал тот. «Нет, — грустно возразил Василий Васильевич, — душа по природе — язычница».

Они правы оба. Две бездны — бездна вверх и бездна вниз — развернуты в душе человека. Быть может, русская душа, не знающая середины, особенно чувствует это.



Андрей не осуждает этих людей. На рассвете он молча возвращается к своим, исцарапанный, невыспавшийся, потрясенный. Никто не спрашивает, где он был. «Твой грех — твои молитвы», — говорит ему Даниил...

## СТРАШНЫЙ СУД

**Ш**лепок глиной по белой стене... Андрей мучается. Ему сложно рисовать Страшный Суд в западной части храма. Он не хочет пугать людей изображением ада, чертей, огня...

Здесь вновь полемика. Время Рублева — это время Позднего Средневековья на Западе. Соборы европейских городов «украшены» изображениями связанных грешников, влекомых бесами в ад; дьявольских пастей, глотающих души...

В сознании западных христиан страх Божий, который в псалмах назван чистым, пребывающим в век века, смешался и отождествился со страхом загробных мук, с ужасом ада. Клайв Льюис замечает, что проповедники, один искуснее другого, ужасали слушателей

описанием ада. Те плакали, содрогались, но... жизнь свою не меняли.

Перемена к лучшему происходит от любви. От той любви, которая милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не радуется неправде...

Эти слова апостола Павла, так называемый «гимн любви», произносит про себя Андрей, когда резвится с ребенком-княжной. Любовь — имя Божие. Любовь — смысл жизни и имя вечности. Без нее жизнь уже здесь превращается в ад. Вот чего надо бояться.

«Отцы и учителя, мыслю: “Что есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже более любить”». Это слова из последней беседы старца Зосимы (роман «Братья Карамазовы»).

Не умеет любить великий князь: он приказывает ослепить артель мастеров, чтоб никому больше не построили такие хоромы, как ему.

Не умеет любить и брат великого князя. Нарушив крестное целование и сговорившись с татарами, он нападает на своих же, учиняет резню, оскверняет святыни.

Грех нелюбви не позволил Руси сплотиться перед татарами, и те, по общему свидетельству

летописцев, пришли как наказание от Бога за грехи.

В царстве страха и ненависти пытались спастись любовью такие, каких видел в лесу Андрей. Но любовью они называли то, что и сегодня чаще всего зовут этим словом — радость тела без души. А исход возможен только в любви Божественной, неотделимой от жертвы и подвига.

Рублевская «Троица» и есть красочный гимн Триединому Богу, имя Которому — Любовь. «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего», — сказал об этой иконе Елифаний Премудрый.

Но очень не просто рождалось это красочное благовествование в душе Преподобного...

\* \* \*

Как уже было помянуто, святого сыграть на экране невозможно. Сыгранная роль никогда не будет живой иконой. Молитвенного тождества между святым и его образом в кино быть не может. Поэтому образ Андрея наиболее уязвим. Тарковский наделяет его маловероятными чертами. Например, страст-

ностью, пафосностью в творческом поиске. Вершина неправдоподобия — убийство Андреем насильника во время резни в храме. В принципе такое, конечно, возможно. История знает много случаев, когда высокие духом люди совершали жуткие вещи и потом находили силы каяться (см. Житие Иакова Постника). Но в случае с Рублевым это — смелый авторский шаг, поскольку житие Андрея (его биография) нам неизвестны.

\* \* \*

Штурм города — событие переломное в жизни Андрея. Этот штурм, в котором русские, соединившись с татарами, немилосердно убивали русских, поколебал душу инока до основания. Когда-то, споря с Феофаном Греком, Андрей защищал народ, доказывал, что народ наивен, прост, как дитя, замучен жизнью, что вера его сильна, а сами грехи простительны.

Слова эти в фильме звучат фоном для сцены Распятия, где все происходит в России. Мироносицы, стражники, очевидцы, Сам Господь — русские. Как на картине Нестерова «На Руси» («Душа народа»), как в пламенной речи князя Мышкина о «русском Христе», Которого

Запад не знает, в фильме осуществлена идея о глубокой, дошедшей до неразрывности, сродненности Евангелия с русским сердцем.

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.

На русских просторах Господь тоже распят. Но в картине ему не кричат: «Сойди с креста!» Народ падает перед крестом на колени.

Эту сердечную любовь к Господу вопреки греху и мраку повседневной жизни отстаивает Андрей. В день набега этой его вере суждено заколебаться.

\* \* \*

Феофан Грек, к тому времени уже покойный, с того света является в разоренном храме, чтобы утешить Андрея. Нужно помнить, когда снимался фильм, чтобы оценить сцену по достоинству. Чего стоит вопрос Андрея: «Феофан, ты там Христа видишь?» Или в ответ на Андреево: «Я человека убил» — слова Феофана: «Грех с человеком сросся. Целишь в грех — ранишь плоть человеческую».

В конце сцены в храме идет снег. «Страшно, когда снег — в храме», — говорит Андрей. Это его последние слова перед долгими месяцами молчания. Андрей решает не разговаривать с людьми.

Разговорит же его колокол.

## КОЛОКОЛ

Это самая последняя новелла фильма. Она чудесно сопрягается с фильмом об иконописце. Ведь и колокол — такой же проповедник, как и икона.

Мы обмолвились уже о том, что на Руси витийствовали не много. Ждали больше дел, а не слов. Дела́м доверяли больше, чем красноречию. Опыт монахов-исихастов, стремление скрыть духовное дарование, тяготение к особому, не словесному назиданию родили на Руси особую культуру. Зодчие заставили камень молиться, то же сделали с металлом колокольные мастера.

Мы сегодня гордимся храмами, построенными тогда. Возле икон, писанных руками святых, в залах музеев замирали тысячи людей. И в советское время эти залы были одним из редких мест проповеди Евангелия.

Колокола также имеют судьбу особую. Их, как живых, ненавидели враги Церкви. Их сбрасывали наземь, у них вырывали языки, их переплавляли. Делали это с ненавистью, зная, что расправляются с благовестниками. Слов не хватит пересказать историю, рассказанную в фильме. Паче чаяния, толком не зная секретов мастерства, мальчишка отлил новый колокол по приказу великого князя. Отец-покойник не открыл ему всех секретов. На выполнение заказа мальчик поставил, как на кон, всю свою жизнь. При первых ударах колокола парень падает в истерике: слишком тяжело далась удача. И вот тут с ним заговаривает Андрей. Иконописец утешает юного мастера. Просит не плакать. Ведь вот какой праздник людям устроил.

Они, обнявшись, сидят в грязи. А на торжестве присутствуют заморские гости, как тогда, так и сегодня удивляющиеся нам и не понимающие нас.

\* \* \*

Дальше они пойдут вместе: иконописец и колокольных дел мастер. Пойдут дарить людям радость и благовествовать Евангелие.

Причем благовествовать так, чтоб оставаться в тени. А в творение рук своих вложить способность звать людей к молитве.

\* \* \*

За каждым кадром этого фильма чувствуется титанический труд, глубокая мысль, любовь к Отечеству и его истории.

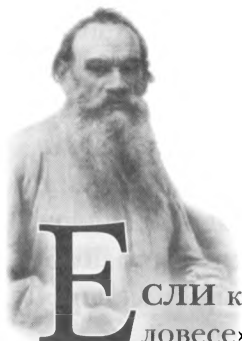
Когда фильм снимался, Андрей Рублев еще не был канонизирован. Возможно, Тарковский не дерзнул бы снимать фильм о прославленном святом. Но Преподобный, душою предстоя Престолу Святыя Троицы, и тогда, и сейчас, надеюсь, молится за своего тезку — Андрея Тарковского.

Вечная ему память!





# ТОЛСТОЙ



**Е**СЛИ кратко сказать об этом «тяжеловесе» мировой литературы и заблудившемся гении, то придется произнести нечто вроде: «“Анну Каренину” читать надо. Отлучение от Церкви снимать нельзя».

Он гениален, Лев Николаевич, кто ж спорит? Но гений как лекарство. Его нужно правильно применить. Иначе то, что создано для врачевания, будет убивать и калечить. Быть бы ему до смерти романистом, экспериментировать бы в области социальных идей не дальше Ясной Поляны и не превращаться бы из титана-литератора в пигмея-проповедника — поминалось бы имя его на молитве до скончания века. Так нет. Чужая слава манит. Хочется влезть в область несвойственную.

И подтверждаются слова Сковороды о том, что все зло мира рождается людьми, занимающимися не теми делами, для каких они созданы.

\* \* \*

Вот Лев Николаевич отказал Христу в Божественности и чудотворстве. Сказал: «Не надо чудес! Не было чудес! Чудеса придумали!» А В.В.Розанов в недоумении спрашивает: «Неужели Толстой не чувствует, что его проза это — чудо?» Я, говорит, сколько ни пытался, ни одной художественной строчки написать не мог. А у этого — музыка. Как не стыдно отвергать чудеса и хулить Источник чудес тому, кто сам получил чудо в подарок и пользуется им, как собственными пятью пальцами!

\* \* \*

С писателя спрос особый. Как пишет Крылов в басне «Сочинитель и разбойник», в аду спрашивают строже с писателей. Что до злодея, то «он вреден был, пока лишь жил». Что же до сочинителя, то увитая змеями и вооруженная окровавленным бичом Мегера говорит ему так: «Твоих творений яд

нисколько не слабеет, / Но, разливаясь, век от веку лютеет». Вообще басня эта настолько важна, сильна и отрезвительна, что ее стоит вывесить в вестибюлях всех журфаков, подобно тому как вывешивают клятву Гиппократата на первых этажах медицинских вузов. Всем же желающим связать свою жизнь с магией текста, тайной алфавита и клавиатурой компьютера ее вообще наизусть выучить бы недурно. Не удержусь, чтоб не продлить цитату:

Кто, осмеяв, как детские мечты,  
 Супружество, начальства, власти,  
 Им причитал в вину людские все напасти  
 И связи общества рвался расторгнуть? — ты.  
 Не ты ли величал безверье просвещеньем?  
 Не ты ль в приманчивый, прелестный вид облек  
 И страсти и порок?  
 И вон опоена твоим ученьем,  
 Там целая страна  
 Полна  
 Убийствами и грабежами,  
 Раздорами и мятежами  
 И до гибели доведена тобой!  
 В ней каждой капли слез и крови — ты виной!

Толстой узнается в несчастном сочинителе, хотя басня написана тогда, когда Лев

еще был львенком и в лучшем случае ходил пешком под стол. Но в своей публицистике и философском морализаторстве Толстой действительно все напасти рода людского приписывал наличию властей и начальства. Он «рвался связи общества расторгнуть». Толстой сильнее других долгие годы расшатывал трон, так что, когда трон рухнул и «целая страна» наполнилась «убийствами и грабежами, раздорами и мятежами», одним из главных виновных был он.

\* \* \*

Что ж, такова сила слова, умноженная печатным станком, закрашенная пафосом личной убежденности всемирно известного писателя. В определенной степени Толстой был жертвой. Собственно, и басня Крылова бичует тех, кто книгами своими «через годы, через расстоянья» соблазнит Левушку. Французы, салонные остряки и чердачные фантазеры, которых только по недоразумению можно было назвать «энциклопедистами». Руссо — один из них. Портрет этого человека в юности Толстой повесил на шею вместо (!) крестика.

\* \* \*

Не только с груди Толстого под воздействием идей Руссо исчез крест. Кресты спливали, рушили и разбивали на территории целой Франции в годы революции. Одной из идейных основ революционной вакханалии были работы Руссо. Уверовавшим в то, что человек по природе добр, а портится только от воздействия на него цивилизации, следовало ожидать дальнейших призывов к возврату в природное лоно, с одной стороны, и к слову существующего порядка — с другой. На то, чтобы додуматься, что и первое, и второе ведет не к счастью, а к одичанию, ума не хватило.

\* \* \*

Не хватило ума и у нашего яснополянского гения. Это какое-то проклятие. Вначале кто-то, как Некрасов, мечтает в кабаке о народном счастье. Другой, невинный и беззащитный, как кролик из мультфильма о Винни-Пухе (разумею Чернышевского), строит теорию о Хрустальном городе будущего. Третий (Толстой), умученный совестью, направляет силу ума в ложное русло. А уже потом,

когда первый, второй и третий лежат в могилах, приходят практики, вооруженные их теориями, и «пошла, засвистела машина...» Летят головы, воцаряется хаос, приходят к власти негодяи, и у адвокатов покойных гениев нет аргументов защиты, кроме беззубого «они ж зла не хотели».

\* \* \*

Думать надо заранее. Не только думать, но и додумывать до конца. Сжигать беспощадно надо иные свои творения, как делал блаженной памяти Николай Васильевич, вместо того чтобы влюбляться в каждую свою мысль и выбрасывать этих уродцев, этих мысленных выкидышей и недоносков в мир живых людей. Так что отлучение от Церкви снимать нельзя. Мегера у Крылова так и говорит:

« <...> А сколько впредь еще родится  
От книг твоих на свете зол!  
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!» —  
Сказала гневная Мегера  
И крышкою захлопнула котел.

Но «Анну Каренину» читать надо. И «Севастопольские рассказы», и «Войну и мир»,

и «Смерть Ивана Ильича». И еще многое другое, потому что автор их обладал Божественным даром. Этот дар он воплощал и реализовывал в правильном направлении долгие годы. Одни лишь эти могучие, правдивые, масштабные или малые, но красивые и искренние полотна могут лечь на вторую чашу весов в день Суда.

\* \* \*

Пушкин — «это наше все». Достоевский — наш пророк всемирного масштаба. А Толстой — наша трагедия. Это большое дерево, росшее на вершине горы и долго дарившее тень и защиту многим. Но потом рухнувшее и поломавшее по пути вниз сотни и тысячи маленьких деревьев.

\* \* \*

Маленькому человеку Бог нужен, чтобы не отчаяться. Большому — чтобы не осатанеть. Маленький человек кланяется не только Богу. Он привычно кланяется всем, кто выше и значительнее его. Бог для него — Утешитель в мире скорбей. А вот большой человек, человек никому не кланяющийся в мире людей,

*Толстой*

должен непременно Богу поклониться. Иначе омрачится как диавол и заразит многих дыханием своих соблазнительных идей. Ни на ком из наших писателей эта мысль так не очевидна, как на писателе, одетом в косоворотку, отказавшемся от мяса и вместе с мясом — от Христа и Его Евангелия.





# ЧЕХОВ В СУПЕРМАРКЕТЕ



**В**ЫСОКИЙ, аккуратно, но старомодно одетый человек стоял в одном из столичных супермаркетов между полок с товарами. На нем был хороший костюм из английского сукна, белоснежным был накрахмаленный воротничок, а взгляд умных глаз из-под пенсне — озадаченным и несколько тревожным. Если бы остановиться и присмотреться к нему, то в душе ожили бы строчки, слышанные в детстве: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда, никто к нему особо не присматривался.

Это было то самое вечернее время, когда окончился рабочий день и множество народа, возвращаясь домой, заходит в супермаркеты за продуктами для ужина. Эти жители

города привыкли ко всему. Их не удивишь ни крашеным «ирокезом» на голове молодого «неформала», ни японской татуировкой на худеньком плечике сопливой девчушки. Им ли удивляться, увидев человека средних лет, одетого в костюм XIX века? Может, это актер, зашедший в магазин в гриме и реквизите. Может, какая-то очередная рекламная акция. Не все ли равно? Завтра опять на работу, вечер такой короткий, и очереди у касс длинные. А ведь надо успеть поужинать до тех пор, как начнется сериал или политическое шоу.

Но у него самого, у этого необычно одетого человека, в душе не было ни одной привычной мысли. В душе был ураган, состоявший из удивления, любопытства, страха, горького разочарования и еще Бог знает чего. Все написанное им оживало в его памяти, словно прочитывалось вслух тихим голосом невидимого суфлера.

«А с т р о в. <...> Те, которые будут жить через сто — двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? <...>

М а р и н а. Люди не помянут, зато Бог помянет.

А с т р о в. Вот спасибо. Хорошо ты сказала» (А.П.Чехов. Дядя Ваня).

«Люди не помянут, зато Бог помянет», — сказал он снова и с удивлением стал рассматривать ледяную горку с морепродуктами. Многое, почти все в магазинах ему, в принципе, было известно. Сыры, колбасы, вина, хлеб. Все это было понятно. Непонятными были только изобилие товаров, множество сортов и непривычная упаковка. Да еще то, что покупали их не дворяне и не кухарки дворян, а обычные люди, составлявшие теперь обычную человеческую массу.

Те ряды, где продавалась бытовая химия, порадовали его. Всю свою медицинскую практику Антон Павлович (а это был именно он) страдал от грязи и антисанитарии. Человек не должен жить в грязи — думал он всегда — ни в грязи бытовой, ни в грязи нравственной. Его сердце разрывалось на части, когда он, будучи доктором, входил в крестьянские избы и видел на полу лежащих вповалку людей и телят, а вокруг — чад, вонь и беспросветную нищету. Эти люди, живущие спустя сто лет, были чисты и красиво одеты.

Чтобы понять их жизнь, ему было мало одного дня. Но только на день его отпустили. Впрочем, ничего, ничего. Ему бы только насмотреться, напитаться впечатлениями, а там будет время все это осмыслить.

Больно поразили ряды сигарет и алкоголя, и память, как в школе, стала повторять ранее написанный текст. «Представьте, мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, стараемся свести число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, а мы не дрожали постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов — сколько свободного времени у нас остается, в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам».

Люди, проходившие мимо и толкавшие перед собой тележки с покупками, никак не походили на людей из осуществившейся мечты. Это не были красивые, как олимпийские боги, свободные и благородные существа, посвящающие досуг наукам и искусствам. У них

были машины, но меньше трудиться и меньше бояться за жизнь они не стали. Их трудом стало теперь обслуживание машин. У них появилась куча новых потребностей, рожденных развитием цивилизации, и, значит, рабство их усилилось. Они боялись голода и холода еще больше, потому что не добывали пищу и тепло сами. Все те же машины привозили еду в магазины, по каким-то трубам приходили теперь в дома вода и тепло, и жизнь от этого стала не вольготнее, а, наоборот, уязвимее и неувереннее. «Число табачных фабрик и винокуренных заводов, должно быть, возросло до невероятности», — подумал Антон Павлович, и ему стало стыдно за все мечты, так простодушно переданные бумаге и так странно воплотившиеся в жизнь. Он видел сегодня в городе и аптеки, множество аптек, и понял, что люди стали болеть больше и сложнее. Он видел их бесцветные, затравленные глаза, и ему опять становилось стыдно за то, что он так незрело и по-детски рисовал себе будущее человечества. То и дело писатель хотел вздохнуть и спросить: «Отчего все так, Боже?» Но он вовремя вспоминал, что не ему в его нынешнем положении зада-

вать такие вопросы, что в ответ на его земные неутоленные вздохи он и послан на землю, и тогда сдерживал вздох, продолжая смотреть, замечать детали и думать.

«Поговорить бы с кем-то», — подумал он, хотя знал, что это не входит в условия договора. «Только на день, и только в роли наблюдателя», — было сказано ему. «Да это и к лучшему», — успел подумать он, как тут же мысль его с проворностью иглы, соскальзывающей на заезженную бороздку пластинки, соскользнула в написанное ранее. «Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик и заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво

и спрашивал: “Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?”» (А.П.Чехов. Ионыч).

«Почитать бы их газеты, узнать бы, есть ли у них паспорта и смертная казнь?» Но даже у отделившейся от тела души сила ума небезгранична. Он успел устать за день.

Писатель побывал сегодня в метро, поднялся на крышу одного из высотных зданий, откуда с замирающим сердцем долго смотрел на краны новостроек и на людской муравейник. Непременно надо было зайти в больницу, в операционную или хотя бы в приемный покой. Надо было бы послушать, о чем говорят коллеги, какие у них проблемы, мечты, дерзания. Но вот он зашел в супермаркет и провел в нем непозволительно много времени. Постоянная спешка, давка в транспорте, сам этот транспорт, фантастический для человека, видевшего только паровоз и городских извозчиков, — все это к концу дня давило, мучило новизной и невообразимостью. И здесь, в помещении, под ярким искусственным светом, среди изобилия товаров, Чехов уже не хотел спешить. Скоро должны прийти за ним те, *светлые*, двое, которые привели его

ранним сегодняшним утром посмотреть на осуществившееся будущее. О! Этот день дал ему столько пищи для ума, что до Страшно-го Суда должно хватить. Всю свою жизнь Антон Павлович трудился и боролся, страстно мечтал и тревожился о *человеке*. Многие из того, что он видел сегодня, мелькнуло перед ним как воплотившаяся греза. Но в целом ему было больно. «Счастье так же далеко от этих людей, как далеко оно было от нас. И в то же время оно одинаково близко и к ним, и к нам», — подумал он и, сказав «нам», горько усмехнулся. «Нам? Нам теперь нужны их молитвы больше, чем им наши книги. Нужно, чтобы они не повторяли наших ошибок, не были так же ужасающе глухи и слепы ко всему, что нельзя положить в рот. Этого, кажется, я в них не заметил».

Медленно двигаясь среди товарных рядов, любопытно поворачивая голову туда и сюда, он дошел до стеллажа с книгами. (В наших маркетах ведь торгуют книгами, не правда ли?) Там он остановился, глядя на людей, листających толстые журналы или другую литературу. Он уже увидел *тех двоих*, пришедших за ним и стоявших у выхода, когда слух



его среагировал на знакомый текст. Это были его слова, но произносил их не тайный суфлер внутри его сознания, как было раньше, а молодой мужчина, державший в руках раскрытую книгу его, Чехова, пьес. «Мы <...> будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжадется над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь, светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем».

— Здорово, правда? — спросил мужчина свою спутницу и закрыл книгу.

— Ты хочешь это купить? — спросила она глядя в сторону.

— Ну да.

— Для себя или для Пашки в школу?

— И для себя, и для Пашки.

— Ладно, бери и пошли. Домой пора.

Ему тоже было пора. *Те двое* сделали знак глазами, и их нельзя было не послушаться. Он пошел к *Хранителям*, благодарный Богу за отпущенный день, за эту странную экскур-

сию, а внутри у него звучало продолжение только что слышанного текста, продолжение, звучавшее сейчас как нельзя кстати.

«Мы услышим Ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую...» (А.П.Чехов. Дядя Ваня).



# ПАРИ



**Е**СТЬ у Чехова рассказ под названием «Пари». Суть происходящего в рассказе заключается в том, что на одной вечеринке между людьми возник спор об уместности смертной казни. Одни говорили, что она необходима, другие — что непозволительна и должна быть заменяема пожизненным заключением. Раздался также и голос некоего юриста, который сказал, что с нравственной точки зрения убийство и пожизненное заключение одинаково ужасны, но что он в случае выбора согласился бы на пожизненное. «Вы не высидите в каземате и пяти лет», — сказал юристу один из присутствовавших на вечере богачей. На эти слова юрист ответил предложением пари и вы-

звался за два миллиона высидеть в добровольном заключении пятнадцать (!) лет. На том и порешили. Заключение нужно было терпеть во флигеле упомянутого богача, сношение с миром осуществлять только через письма, все необходимое (книги, еду, ноты и прочее) богач обязывался предоставлять по первому требованию. Общаться с людьми — запрещено, и если юрист выйдет из затвора хоть на две минуты раньше — он проиграл.

Кто хочет узнать, чем дело закончилось, пусть читает оригинал. Мне же представляется важным то, чем занимался юрист в своей импровизированной тюрьме, а точнее — что читал. Человеку крайне важно научиться работать с текстами и информацией, чтобы не захламлять сознание, чтобы избегать ловушек, чтобы не повторять чужих ошибок. В информационном же обществе (а именно в нем мы и живем) сей навык просто-напросто приравнивается к необходимой технике безопасности.

Итак, Антон Павлович следующим образом описывает поведение добровольного узника.

\* \* \*

*«В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т.п.».*

Именно так и читают большинство людей, одаренных умением читать. Для них искусство и культура — лишь способ уйти на время в параллельный, ни к чему не обязывающий мир, попытка отдохнуть и расслабиться. Развлечения ищет «почтеннейшая публика» в таком подходе к искусству, развлечения и легкой альтернативы по отношению к тяжелой и обременительной действительности. В мире братьев Люмьер этому чтиву соответствует tutti-frutti, то есть вся бурда: мелодрамы, боевики, мыльные сериалы, фэнтези. Но обыватель в тюрьме не сидит и на этом этапе может провести всю жизнь без остатка. Зато юрист сидит, и его душа вынужденно развивается, посему меняется и читательское меню.

*«Во второй год музыка уже смолкла во флигеле, и юрист требовал в своих записках только классиков. В пятый год снова слышалась музыка и узник попросил вина. Те, которые наблюдали*

*Пари*

*за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали не раз, как он плакал».*

Классика пришла на пятый год. Когда она придет к человеку, находящемуся в обычных, а не экстремальных условиях, — вопрос. Но она должна прийти. Нужно перечитать школьную программу, чтобы развеять иллюзии знакомства с ней, и впервые уронить слезу и прийти в восторг над Гоголем, Пушкиным... Потом захочется самому что-то написать (юристу захотелось). Но это скоро пройдет (юрист наутро разрывал все написанное). Но на этом развитие не заканчивается.

*«Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо: “Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках.*

*Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!» Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в саду два раза».*

Та ступень, до которой дорос необычный затворник, называется жаждой глубоких знаний. Здесь стоит оговориться и признаться, что у подавляющего большинства из нас нет и не будет никакой возможности засесть за фундаментальное образование во взрослом возрасте. Это — редкий удел небольшого количества людей. Но жажда подлинных знаний у нас быть должна. Сама эта жажда будет защитой души от всякой информационной суеты и мелочи, которая норовит всякому залезть в рот и набиться в уши, как таежная мошкара.

Мы уже видим направление развития личности. Сначала легкое чтиво, затем классика, затем — наука и языки. То есть сначала Маринина, потом — Сэлинджер, потом — Платон

в оригинале. Или сначала — радио «Шансон», потом — оркестр Поля Мориа, потом — Бах и Гендель. Но идем дальше.

*«Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пришли история религий и богословие».*

Заметим удивление банкира. Шестьсот томов — и маленькая книжечка. Что там можно читать так долго? До чего над ней можно додумываться? Подобные вопросы не высказываются многими лишь по причине отсутствия повода. Но заметим: над Евангелием замер человек, закаленный в чтении и изучении серьезных книг и наук. Человек мелкий и пустой пробежит евангельский текст глазами, зевнет и включит телевизор. Потом на вопрос: «Вы Евангелие читали?» — он будет громко отвечать: «А как же!» Что ни говорите, но чем глубже и основательнее человек, тем глубже и основательнее его вера. У примитивного человека вера по необходимости будет примитивной.



*«В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!»*

Последний этап характерен двумя вещами. Во-первых, человек, докопавшийся до глубин, в эти глубины глянувший, может действительно читать все. Ему все интересно и все не так опасно, как людям неискушенным. Во-вторых, юрист находился на финишной прямой и ожидал окончания срока пари, а это самый тяжелый период заключения. В это время он особенно остро мучился и искал развлечения.

Вот, собственно, и все, что я хотел извлечь из рассказа. Чем он закончился, я не скажу, стимулируя здоровый интерес к хорошей литературе. А нам с вами, братья и сестры, нужно извлечь из сказанного ту мысль, что душа, на-

*Пари*

чавшая трудиться, непременно проходит на пути своего развития вполне определенные этапы.

Нужно переболеть всякой чепухой и перерасти ее.

Нужно добраться до серьезных книг, отнимающих сон и переворачивающих душу.

Нужно ощутить скорбь от того, что у нас нет глубокого, классического образования, нет базы. И нужно постараться хоть как-то эту потерю восполнить.

Наконец, нужно дочитаться до слова Божия и найти в нем ни с чем не сравнимую сокровищницу красоты, и пользы, и смысла.

Только лучше упомянутую школу духовного роста проходить на воле и в тюрьму ради этого не садиться.



## «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»



**О**СКАР Уайльд пишет «Портрет Дориана Грея». Ведая о том или нет, он пишет художественную иллюстрацию к словам апостола Павла о двух людях внутри одной личности — о человеке внешнем и внутреннем.

Там, где гений скажет две-три фразы, талантливый и работоспособный человек напишет дюжину книг. Апостолы не были гениальны в античном смысле этого слова. Они были благодатны. Но там, где они обронили несколько фраз, выросла великая культура и литература. Литература христианская, даже при переходе в постхристианскую, все же продолжает питаться из евангельских источников. Очень глубокими должны быть эти источни-

ки, раз авторы, попирающие этические нормы христианства, продолжают находиться в поле притяжения смыслов Нового Завета.

«Внешний наш человек тлеет, — пишет апостол, — а внутренний обновляется». Павел очень остро переживал временный конфликт между тем, что человек уже спасен во Христе, но продолжает страдать и все творение — *вся тварь* — вынуждено стонать и воздыхать вместе с человеком. Апостол язычников говорит, что *мы спасены в надежде, что сокровище благодати мы носим в глиняных сосудах*, то есть в смертных и хрупких телах. Он говорит о сокровенной жизни сердца, ума и совести, и верховный Петр вторит ему, упоминая о «внутреннем, сокровенном человеке».

И вот Уайльд пишет живую иллюстрацию этих слов. Правда, сам писатель по образу жизни подпадает под гневное обличение того же Павла из Послания к Римлянам. Он, Уайльд, один из тех, кто не потрудился *иметь Бога в разуме*, и за это Бог предал его в «неискусный ум творить непотребное». Писатель — один из тех, кто оставил естественное употребление пола женского и разжигается похотью на подобных себе мужчин. Он не гермафродит

и не тиран, сошедший с ума от злодеяний. Он — эстет. Мировоззрение эллинов созвучно его сердцу, и Уайльд готов отступить в глубь древних мировоззрений, чтобы сглатывать слюну при виде юношеских тел. Поэтому его апология Павловых идей — не прямая, а косвенная. Точнее, это апология от противного.

У апостола внутренний человек красив, если возрожден под действием Святого Духа. Внешний же человек, с морщинами, кариесом, слабеющим зрением, скрипом костей по утрам, со всеми, то есть, признаками смертности и временности, обречен истлеть, чтобы затем воскреснуть. У английского эстета, отторгнутого обществом на родине, все наоборот. У него внешний человек красив, красив как античный бог, а внутренний, соответственно, гнил и безобразен. Но это именно и есть доказательство от противного, и любой математик скажет, что оно прекрасно доказывает истинность изначальной посылки. В нашем случае это — проповедь апостолов.

Итак, «Портрет Дориана Грея». Книга о том, как в жертву временной красоте и успеху приносится «сокровенный в сердце», внутренний человек. В нашу визуализированную

эпоху людям, не любящим долго читать, но все же не желающим остаться без мысленной и нравственной пищи, можно посоветовать одну из экранизаций романа. Лучше ту, где Малкольм Макдауэл играет искуителя. Там события вырваны из викторианской эпохи и погружены в эпоху гламура и журнального глянца. Сам портрет главного героя превращается в фотопортрет, происходит талантливая инкультурация главной идеи в сегодняшний день. И правильно. Души искушаются и гибнут во все эпохи одинаково. Меняются только траурные марши и наряды на похоронах. А книга стоит того, чтобы заставить всех молодых людей, мечтающих о звездной карьере, прочитать ее.

Фабула проста, как все гениальное. Юному красавцу предлагается сделка. Через компромиссы с совестью он должен заложить собственную душу, того самого внутреннего человека, чтобы взамен получить славу, успех и неувядающую красоту. Молодой человек принимает условия сделки. Отныне он внешне не будет стареть. Вместо него стареть будет его портрет (фотопортрет, если речь о фильме). Все грехи, все подлости будут отныне

проступать на портрете в виде безобразных черт. Внешне же все будет так, как об этом мечтает каждый из числа не верующих в вечную жизнь и не слишком прислушивающихся к совести.

Поначалу Дориану хорошо. Он — объект зависти, сплетен, шепота за спиной. Он — lucky-boy, на месте которого мечтают оказаться юноши и в объятьях которого мечтают оказаться девушки. Но Дориан не мог быть просто бессовестным счастливымчиком. Об изменениях внутри его души ему ежедневно сигнализирует портрет. В этом великая сила подлинного искусства, при помощи которого вскрываются внутренние механизмы человеческой жизни и обличается грех. Зачастую обличается сам художник. Богачи и актрисы, диктаторы и люди, больные нарциссизмом, узнают себя в художественном произведении. Они задумываются о своем «портрете», которого вроде бы нет в природе, но который тем не менее есть. Этот портрет не висит в потаенной комнате. Он отпечатывается в совести.

Что там на нем? Появился ли лишний фурункул после вчерашней вечеринки? Не загноился ли недавно подсохший струп после

подписанного накануне контракта? Сколько новых морщин появилось на этом портрете, покуда хозяину делали укол, разглаживающий внешние морщины? Для этих рассматриваний не нужно бежать в спальню, к портрету. Тем более не нужно садиться у трюмо и вглядываться в зеркало. Художественный вымысел, выросший из евангельского материала, возвращает читателя к себе, то есть к совести. И чем больше сходных черт в жизни Дориана Грея и читателя (внешняя слава, приобретенная ценой внутреннего компромисса), тем очевиднее и неоспоримее внутренние параллели.

Василий Великий в одном из поучений говорит о том, что неизбежно плохо закончится то, что началось плохо. Портрет будет гнить на глазах, указывая на процессы, происходящие в сердце. Бывший первообраз, вместо того чтобы цвести и пахнуть, тоже будет гнить, внутренне. От грехов Дориан будет уже мертв душой, но только разве что заморожен на время, так что ни запаха, ни вида мертвеца в нем заметно не будет. Затем конфликт дорастет до высшей точки, и lucky-boy совершит специфическое самоубийство, посягнув



на целостность портрета. Удар в физиономию собственной гнусности, воплощенной на картине, станет ударом по самому себе. Красавчик рухнет замертво, в секунду перенеяв свой настоящий образ. Уродство портрета перейдет к трупу, а в раме будет висеть изображение «того» Дориана, прекрасного и увековеченного в его навсегда пропавшей красоте.

Это касается далеко не одних только актрис и плейбоев, озабоченных липосакциями и фотосессиями. Тема касается всех, поскольку всякий, взглянув на собственное внутреннее безобразие, буде оно предстало пред взором, захочет ударить ножом это чудовище. Это и будет самоубийство.

Очень интересно находить блуждающие библейские темы в известных произведениях искусства. Даже общеизвестные факты, например связь книги Иова с прологом «Фауста» или тема антихриста в «Ревизоре», радостно кружат голову, несмотря на привычность. Тем более приятно открыть для себя историю прекрасного Иосифа в «упаковке» «Огней большого города» или нечто подобное. Ромео и Джульетта, например, обречены изначально. И они невинны. Именно невинная смерть

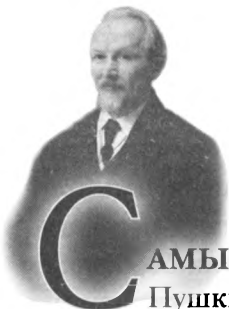
*«Портрет Дориана Грея»*

должна была примирить враждующие кланы. Кому как, а для меня это — литература, выросшая на христианской почве, на почве веры в Невинного Искупителя, обреченного стать Жертвой с самого начала. «Дориан Грей» от туда же.

Если уж продолжать выискивать корни, то вспомним и блаженного Августина. Он говорил, что нравственность человека расположена между двумя гранями. Это — любовь к Богу вплоть до ненависти к себе и любовь к себе вплоть до ненависти к Богу. Между этими гранями находится каждый, и каждый не стоит, но движется. Оскар Уайльд строил свою, достойную сожаления жизнь на «любви к себе», предпочитая фразу до конца не договаривать. Тем более удивительно, что он написал умнейшую и прозорливую книгу, бичующую не меньше других его самого.

Пора вернуться к началу статьи: очень глубокими должны быть христианские источники европейской культуры, раз авторы, попирающие этические нормы христианства, продолжают находиться в поле притяжения смыслов Нового Завета.

# ФРЕЙД ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ



**С**АМЫЙ умный человек России — это Пушкин. Так сказал император после личной беседы с поэтом, и я не советую с ним спорить. Не потому, что император всегда прав, а потому, что в этом случае он прав безоговорочно. Самый умный человек в России, повторяю за помазанником, — это Пушкин. Нужно изрядно поумнеть, чтобы с этой мыслью согласиться. Но самый интересный человек в России — это Розанов. Об этом не высказывался никакой император. Это мое частное мнение.

Всяк человек мал. Мал он в качающейся люльке и мал в некрашеном гробу. Но велик тот, кто помнит об этом и не позволяет своей фантазии буйствовать, мечтать о мнимом

величии смертного человека. Велик тот, кто не бежал впереди паровоза, кто не мечтал поворачивать реки вспять или покорять холодный космос, но кто после простого, но сытного обеда обращал взор свой в красный угол, где горит перед образом лампада, и без притворства говорил: «Благодарю Тебя, Господи!»

Таков Василий Васильевич.

Живем мы по-разному, и живем в основном плохо. Мелко живем, искупая мечтой о будущей славе нынешнюю ничтожность. А проверяется «на вшивость» человек смертным часом. Это — важнее всего. Кто мирно умер, тот красиво жил. Кто умер сознательно, преодолев страх, кто обращался в молитве лично к Победителю смерти, тот преодолел жизненную муть и двусмысленность. Такой человек красив.

Розанов умирал многожды причащенным и особорованным. Он умирал, накрытый пеленой от гроба аввы Сергия.

При жизни он столько всякого наболтал, столько слов выпустил в мир из-под пишущей руки! Судя по этим словам, он был с Христом в сложных отношениях. Но смерть, эта

прекрасная незнакомка, расставляющая точки над «і», проявила в нем Христова угодника.

Жизнь прожитая проходила перед ним, когда он лежал с закрытыми глазами в ожидании ухода. Что он сказал о жизни и что понял в ней?

Сидя за нумизматикой, он ронял прозорливые фразы о русской душе, о ее бабьей глупости и склонности к вере в ласково нашептанную ложь. Он, как капли пота, ронял на бумагу капли умных слов о запутавшемся человеке и о беде, которая его ждет.

Что вы мучаетесь вопросом, что делать? Если на дворе лето — собирайте ягоды. Если зима — пейте с ними чай.

Девушки, вы вошли в мир вперед животом.

Пол связан с Богом больше, чем ум или совесть с Богом связаны.

Его критиковали, а он плевать хотел. Знай себе писал что думал, вплоть до мнений противоположных. «Мысли всякие бывают», — говорил он после.

Что он вообще сказал? Ой, много.

Вы оскорблены несправедливостью мира? Это так трогательно. И вы, конечно, хо-

тели бы этот мир переделать по более справедливому стандарту? Дорогой, неужели от вас утаилась негодность вашей собственной души? Неужели не ясно вам, что негодяи, собравшиеся переделывать мир к лучшему, превратят его в конце концов в подлинный ад? В процессе этого переустройства мелкие негодяи превратятся в очень даже крупных злодеев и породят, в свою очередь, новую поросль мелких негодяев, тоже мечтающих о переустройстве мира. Так будет, пока мир не рухнет.

Небо черно, и будущее ужасно, а человек — глупец, верящий в себя, а не в Бога и желающий опереться на пустоту.

А ведь все было рядом, под боком. Была семья с ее вечной смесью суеты и святости. Была Церковь, заливающая воскресный день колокольным звоном. И многодетные долгогривые священники встречались на улице не реже, чем городские. Была возможность учиться, трудиться, набираться опыта. Были и грехи, но они были уравновешены благодатью, и стабильностью, и теплым бытом. Теперь это уйдет, а на место того, что было, придет великий по масштабам эксперимент

как над отдельной душой, так и над целым народом. Но Розанова Господь заберет раньше. Из милости.

Он не увидит эксперимента в его размахе. Но это и не надо. Пусть слепцы поражаются размерами ими же вскормленного дракона. Кто дракона не кормил, тому достаточно услышать треск раскальваемых изнутри яиц и ощутить при этом мистический ужас. Василий Васильевич все видел в зародыше и все понимал. Он боялся тогда, когда большинство веселилось. Потому и умер он не в лагере от истощения и не в подворотне от удара заточкой. Он, повторяю, умер, накрытый пеленой от гроба аввы Сергия. Умер многожды приращенным и особорованным.

Розанов много говорил и писал о сексе. То, что читалось тогда как вызов, как дерзость и эпатаж, сегодня читается как лекарство. Вот давно уже, еще до рождения нашего, напился воздух разговорами о делах таинственных, потных и соленых. Вот ни один журнал не обходится без рубрики «об этом». Весь мир, кажись, увяз в этой теме, как автомобиль на бездорожье. И невозможно сделать вид, что это никого не касается. Невозможно скрыть-

ся в дебри пуританства. Там, в этих дебрях, творится, если честно, то же самое, что на пляжах Ямайки при луне под действием избытка алкоголя. И нужно говорить «об этом», нужно вносить свет мысли и слова в эти сумерки сладких и убийственных тем.

Василий Васильевич говорил о сексе как никто. Он говорил смело, как свободный, и с нежностью, как отец.

Ханжу распознаешь по розовым щечкам, бегающим глазкам и завышенным требованиям. Ханжа сладко поет о том, чего отродясь не знает. Скопец, напротив, будет суров и даже жесток ко всем, кто с ним не согласен. Розанов не ханжа и не скопец. Ханжам он кажется дерзким, а скопцам — развратным. Не то и не другое. Он просто зрит в корень. Иногда погибает лишнее под действием сердечного жара или будучи увлеченным стихией слова. Но это только в православной стране звучало как вызов. В содомо-гоморрской цивилизации это звучит в большинстве случаев как лекарство. Не для этой ли цивилизации он и писал?

Он — провинциал, понимающий самые глубокие и скрытые мировые процессы. После бани, надев свежее холщовое белье, он



курит на веранде папироску, и взору его открыто столько, что, будь у футуролога такая степень осведомленности, быть бы ему всемирно известным. Розанову же всемирная известность не грозит. Как и горячо любимый им Пушкин, Розанов обречен быть плохо расслышанным мыслителем, он обречен быть человеком, чей ум рожден в России и только для России.

Пушкин в переводе на французский звучит пошло. Розанов в переводе вообще не звучит. «Открывает рыба рот, но не слышно, что поет». Все, что интересует Запад: свобода, литература, секс, деньги, смерть, — интересуется и Розанова. Но это так специфично его интересуется, что Запад его не слышит. Не понимает. Ну и шут с ним, с Западом. Гораздо горше то, что свои люди Розанова не ценят и не понимают. Не читают. Если же читают, то соблазняются, ворчат, морщат нос.

Я тоже морщу нос, психую, машу руками, натываясь на некоторые пассажи. Но потом возвращаюсь к его строчкам и вижу: частности не слишком важны. В целом — молодец. Живая душа. Снимаю шляпу. Упокой, Христе, его душу.

Самые важные вещи о судьбах мира можно высказать, находясь не на сотом этаже двадцатиэтажного небоскреба, а в деревянном срубе, вечером, при свете керосиновой лампы. Майские жуки бьются в стекла, ритм жизни задан тиканьем ходиков, на столе остывает медленно самовар. А человек пишет, обмакивая перо в чернильницу, и то, что он напишет, сохранит свою актуальность много лет после того, как кости его смешаются с землей до неразличимости. За это я и люблю Розанова.

Я люблю его за слова, сказанные перед смертью. Вернее, за тот диалог, что был между ним и его женой Варварой. «Я умираю?» — спросил Василий Васильевич. «Да, — ответила жена, — я тебя провожаю. А ты, — добавила она, — заberi меня быстрее отсюда». Он и забрал ее через считанных несколько лет.

Проживите-ка жизнь свою так, чтобы быть способным сказать и услышать такие слова в последние свои минуты. Проживите-ка жизнь так, чтобы быть достойным перед смертью такое сказать и такое услышать.

Достоевский — это Ницше наоборот, «православный Ницше».

Розанов — это Фрейд наоборот, «православный Фрейд». Но не только. Он — певец семьи и маленького счастья, которое есть единственное счастье, а потому — единственно великое.

Он — певец простого быта, и смеяться над его приземленностью может только фраер, который не сидел в тюрьме, или не служил в армии, или не работал на стройке и вообще ничего тяжелого в жизни не пережил.

Он певец рождающего лона, трубадур зачатий и поэт долгих поцелуев после двадцати лет совместно прожитой жизни. Осуждать его за эту поэзию невинной половой жизни в семье в наш век абортот, легального разврата и сексуальных перверсий может только или упомянутый выше розовощекий ханжа, или увешанный веригами скопец. И тот и другой, заметим, от пакостей плоти не свободны. Очень даже не свободны.

Для меня Розанов — это Робин Гуд, который не может сразить стрелой всех злодеев мира, однако метко поражает тех из них, которые оказываются в поле его зрения. Его стрела — написанное слово. Значение многих из этих слов вырастает по мере удаления от эпохи, в которой они родились. Но человек,

как раньше, так и сегодня, слабо восприимчив к словам этого уединенного философа.

Чтобы его понимать, нужно хоть чуть-чуть, хоть иногда радоваться тому, чему радовался он; делать то, что делал он. А радовался он детской пеленке с желтым и зеленым, хорошей книге, горячему чаю, умному человеку.

Делал же он то, что мог, и то, что умел. А именно: содранной кожей души прикасался к поверхности мира и, отдернувшись, говорил о том, что эта жизнь — еще не вся жизнь. Есть жизнь иная и лучшая, а эту — нужно дожить за послушание, без проклятий, с благодарностью.



# ТАНЦОР НАД БЕЗДНОЙ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О РАННЕМ МАНДЕЛЬШТАМЕ



**Д**О ЧЕГО легок и вместе с тем пронзительен ранний Мандельштам! Его легкость не поверхностна и не слепа. Он — зрячий танцор над бездной, смотрящий не под ноги — в черноту, а вверх — в лазурь, окрашенную золотом.

Ницше пишет о глубоко трагичном мировоззрении греков, которое они, как страшную телесную рану, закрывали изящными покрывалами искусства. «Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грез — олимпийцами» («Рождение музыки из духа трагедии»).

Есть что-то от сказанного выше в Мандельштаме. Он — канатоходец, певец у бездны на краю. Дерзну сказать, что ум у Мандельш-

тама был эллинский, то есть пронизательный, угадывающий трагедию за ровной поверхностью будней. И в то же время это ум, жадный к знанию, жадный к впечатлениям, стремящийся к всеединству. Но кровь у него еврейская («в крови — душа»), и эта кровь сохраняет силы на многие поколения.

Осип Эмильевич носил в груди вражду и противоборство двух вечных соперников — эллинизма и иудейства.

Эллин — это мужчина, муж. Он созерцает и мыслит. Его рука формирует жизнь так, как скульптор освобождает от лишней каменной породы при помощи резца угаданную в глыбе фигуру.

Еврейская культура женственна. Она любит ушами, поскольку помнит сказанное: голос Мой вы слышали, а образа никакого не видели (см.: Втор 4, 12).

Еврейская стихия истерична. Она вся в хлопотах и тревоге. Это — душа, которая мечется между верностью до гроба и согласием упасть в ближайшую ловушку измены. Потом она будет опять клясться в верности, плакать и каяться (в который раз ловлю себя на мысли — до чего похожи евреи и русские).

Еврейская душа не дружит с логикой. Смысл длинных фраз для нее блекнет на четвертом или пятом слове. Она и глупа, как большинство истинных женщин; она же и способна к святости. Это — вторая струя крови внутри мандельштамовских жил. Попробуйте-ка прожить со всем этим.

Антагонизм между иудейством и эллинизмом снимается только в лоне святоотеческого, восточного христианства. Христианство западное раздавливает обоих тяжестью юридика. Католицизм всех умел уложить на прокрустово ложе своего мышления. Кого надо — обрубит, кого надо — вытянет. А восточное христианство сплавляет внутри себя еврейскую любовь к Писанию, верность Единому с восточной жаждой созерцаний и поэзией размышления. В нем есть место и мистике брака, и трудам аскетизма. Для еврея, стремящегося к Истине и не чуждающегося христианской культуры, прямой путь в Православие. В католицизме он будет «выкрестом». В Православии вернется к Богу отцов. В случае с Осипом Эмильевичем все было сложнее и запутаннее.

В одном из стихотворений Мандельштам пишет о своем появлении на свет:

Из омута злого и вязкого  
Я вырос тростинкой шурша, —  
И страстно, и томно, и ласково  
Запретною жизнью дыша.

Это четверостишие и следующие за ним еще два, составляющие стихотворение в первой книге поэта «Камень», могут показаться лакомым кусочком для психоаналитика. Мне же думается, здесь указание все на то же — на происхождение. В очерке «Хаос иудейский» поэт вспоминает поездку в Ригу, к бабушке и дедушке. Бабушка знала по-русски только вопрос: «Покушали?» — и повторяла его часто. Дедушка был печален. «Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно».

В очерке «Книжный шкаф» поэт вспоминает свое домашнее обучение и еврейскую азбуку с картинками. На картинках изображались лейки, ведра, кошки и один и тот же мальчик «в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя



и всем существом восставал на книгу и науку». Выше азбуки и Пятикнижия на полках лежали книги Шиллера, Гёте, Пушкина, Ибсена. Можно думать, что это и была «запретная жизнь», которой «и томно, и ласково» дышал мальчик, выросший «из омута злого и вязкого».

Каждый из нас, наверное, видел пень спиленного дерева. Не срубленного и не поваленного ветром, а именно спиленного. В школе нас учили узнавать возраст дерева, подсчитывая кольца. Если двигаться от окружности к центру, то в самой середине пня будет то место, с которого все началось. Там был тонкий стебель, со временем отвердевший и, слой за слоем, нарастивший на себя панцирь опытности и зрелости.

Если христианство сравнить с деревом, то гибкая и свежая его сердцевина, тот стержень, от которого зависит все, — это Евхаристия. Ближайшие к ней и от нее зависящие слои — это трехчастная иерархия, каноны, кодекс Священных книг. Далее идут мученичество, монашество со всем своим многообразием, богословие. Философия, искусство, архитектура, облагораживающее влияние на

законы и нравы общества составляют внешние слои дерева и со временем превращаются в кору.

Мандельштам постигал дерево начиная с коры. Он, можно сказать, питался ею так, как питаются корой деревьев среди лютой зимы безобидные и беззащитные животные.

Прогрызть кору вглубь и дойти до сердцевины что-то ему не дало. Возможно, революция. Это ведь она — революция — спилила Дерево и порубила его на дрова, чтобы согреть миллионы «малых сих» и сварить для них кашу. Или не она? Тогда кто? Хочется думать, что она виновата. Страшно представить, что причина не в ней. Что продлись еще лет на двадцать спокойствие и благоденствие, Мандельштам и такие, как он, остались бы все там же. Все так же грызли бы кору, не докапываясь до сути. Или поднимали бы интеллигентский бунт на полпути до сердцевины и оборачивались вспять. Так раньше делали в пустыне их предки. Кости их долго белели у подошвы Синайской горы.

Итак, Мандельштам шел к христианству от культуры. Это влечение к яствам с европейского стола в среде евреев зародилось

еще в XVIII веке. Немецкий еврей Моисей Мендельсон (1729–1786) считал и учил, что евреям необходимо иметь и светское, и религиозное образование, чтоб не отставать от жизни. Мендельсон был верен иудаизму, но и открыт немецкой культуре. Его последователей называли просвещенными, а само движение — гаскала (просвещение). У гаскалы среди евреев было немало противников. Те, кто был против, чувствовали, что слушать орган и не вникать в мессу долго не получится. Все шестеро детей Мендельсона крестились. (Один из его внуков — автор музыки, которую мы слышим на свадьбах.) Так культура пленяет сердце и приводит к выводам, о которых не догадывались.

Отец Мандельштама тоже был из Германии. Он, по словам сына, «пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей». И сын его тоже крестился. Не в Православие, что было бы для России естественно. И не в католицизм, а в лютеранство.

Что первое пленяет неопита? Роскошность зданий, посвященных Богу.

Люди, построившие Notre Dame и Святую Софию, жили в лачугах, укрывались рваньем,

и пищей их были овощи с хлебом. Они больше нас думали о конце света, но построили храмы, которые могут устоять даже после волны ядерного взрыва. Мощь храмов — это осязаемая мощь веры, и ею не может не плениться молодой человек в пору поиска духовных ориентиров.

Деятнадцатилетний поэт посвящает этим безмолвным проповедникам Сына Божия свои стихотворения. Он еще не проникает внутрь, в обряд и Таинства. Внимание привлекают «сто семь зеленых мраморных столбов», «подпружных арок сила», то есть вещи внешние и непринципиальные. Девять лет спустя он скажет о главных храмах христианского мира словами «не мальчика, но мужа»:

Соборы вечные Софии и Петра,  
Амбары воздуха и света,  
Зернохранилища вселенского добра  
И риги Нового Завета...

А шестью годами раньше он заговорил и о Таинствах. Правда, по-дилетантски восторженно, смешивая воедино западный и восточный обряд. Зато так радостно и живо,

что нет сомнения — восторг молитвы поэту близок.

Богослужения торжественный зенит,  
Свет в круглой храмине под куполом в июле,  
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули  
О луговине той, где время не бежит

И Евхаристия, как вечный полдень, длится, —  
Все причащаются, играют и поют,  
И на виду у всех Божественный сосуд  
Неисчерпаемым веселием струится.

Для Мандельштама христианство во многом — культурный феномен.

Культура не лечит раны жизни, но преодолевает хаос. Это уже — немало. Течение акмеистов, к которому Мандельштам принадлежал, он определял как «стремление к мировой культуре».

«Мировой» сказано громко, поскольку ни Китай, ни Индия, ни Персия его не интересуют. Интересует культура христианских народов, а также та часть их дохристианского культурного прошлого, которая прошла сквозь сито верующего сознания. Отсюда, от выбранного ракурса, от точки зрения с позиции культуры, — мандельштамовский экуменизм.

«Аббат Флобера и Золя», афонские «имябожцы-мужики», «покойный лютеранин» спокойно сосуществуют на страницах его стихов, и, как по мне, не стоит предъявлять к уроженцу варшавского гетто слишком высоких профессиональных требований. Он «христианства пил холодный горный воздух».

Поэт вообще — пилигрим мировой культуры. Его собеседники — люди без прописки. Кто такие Ариост и Тассо для нас с вами, насколько они реальны? Дерзну предположить, что в известные моменты и эти оба, и другие поэты для Мандельштама были реальнее всех современников. Умершие поэты продолжают говорить, но перестают слушать. А их самих, говорящих через произведения, слышит небольшое число способных к этому людей. Иногда отзвук чужого голоса рождает в душе поэта собственную мелодию.

Я получил блаженное наследство —  
Чужих певцов блуждающие сны;  
Свое родство и скучное соседство  
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,  
Минуя внуков, к правнукам уйдет,  
И снова скальд чужую песню сложит  
И как свою ее произнесет.

Разговор о Боге очень интимен. Это разговор об «Отце, Который втайне». К тому же Бог ежесекундно нас слышит. В таких беседах уместнее задавать правильные вопросы, чем оглушать громадностью ответов.

Не всякий разговор о Боге истинно религиозен. Есть просто сплошная пошлость и нарушение третьей заповеди. И, напротив, есть умные речи, не называющие имен, но подводящие к Богу вплотную.

Вот юноша, по его признанию, «каждому тайно завидующий и в каждого тайно влюбленный», роняет несколько гениальных строчек:

За радость тихую дышать и жить  
Кого, скажите, мне благодарить?

<...>

На стекла вечности уже легло  
Мое дыхание, мое тепло.

Эти простые строчки прошептаны так, что мы почти воочию видим запотевшее «вечности стекло» и можем писать на нем пальцем. Никак не поминающее Творца, это, возможно, одно из лучших религиозных стихотворений.

Нашедший упокоение в одной из братских лагерных могил, что он писал при жизни о смерти? Ведь не может же поэт не писать о смерти. Вот, например, в «Аббате»:

Я поклонился, он ответил  
Кивком учтивым головы,  
И, говоря со мной, заметил:  
«Католиком умрете вы!»

Аббат ошибся. Католицизм Мандельштам не принял. Как, впрочем, и не был отпет в Исаакиевском, хотя возвышенно обмолвился:

Люблю под сводами седая тишины  
Молебнов, панихид блужданье  
И трогательный чин — ему же все должны, —  
У Исаака отпеванье.

Что ж, поэт не обязательно пророк. Знал ли Бродский, когда писал: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, / На Васильевский остров я приду умирать», — знал ли он, повторяю, что иной погост и иной остров назначен для его тела?

Мандельштам осторожен и даже кроток в обращении со священными темами. Но при



этом очень честен, а в разговоре на эти темы честность — главное достоинство. Чего стоят такие, например, строки:

О, как мы любим лицемерить  
И забываем без труда  
То, что мы в детстве ближе к смерти,  
Чем в наши зрелые года.

Сказано в 1932-м, за шесть лет до смерти. Но извлечено из того раннего опыта, который неизгладимо отпечатлелся и на поиске своего пути, и на литературном творчестве, и на всей жизни.



# ПЛАТОНОВ



**М**ОЖНО сказать, что сердце перегоняет кровь, а печень вырабатывает желчь. Но нельзя сказать, что мозг рождает мысли. Совершенно неизвестно, откуда они берутся, мысли. Тем более когда речь заходит о словах, приоткрывающих завесу над будущим, словах, выходящих далеко за пределы времени, в котором они были произнесены. Когда святой человек очищенным умом стоит на страже у входа в свое сердце, там он может по временам слышать Божии слова, обращенные к нему лично. Бог ищет таких людей. Ему нужно найти кого-то одного среди многолюдства, чтобы, разговаривая с одним, обратиться к многим. Таков закон, и его стоит повторить: Бог ищет одного,

чтобы через него говорить со всеми, влиять на всех. Таков был Авраам, таков был Моисей, таков был Павел.

Но есть другие случаи. О них сказано: *неужели и Саул во пророках?* (1 Цар 10, 12). Это говорится в тех ситуациях, когда пророчествует человек непостоянный, верный не до конца, не умеющий оправдать призвание. Пророчествовать способен, к примеру, Каиафа. Он предсказывал искупительную смерть Иисуса Христа, не понимая своих собственных слов. Эта последняя разновидность пророчеств повторяется часто и не связана только с чином архиерейским.

Подобным пророчествам уютно в литературе и поэзии. Работники этого цеха нередко дописываются или договариваются до таких вещей, которые не входили в их непосредственные творческие планы и которые могут быть верно истолкованы только с высших позиций, с позиций исполнившихся пророчеств. В буколиках Вергилия христиане увидели предвосхищение Новой эры, эры Христа. Там, где римлянин читал: «Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться» («Буколики», IV. 60), он, вероятно, не выходил умом за пределы тро-

гательных представлений о семье и о нежности, царящей между матерью и ребенком. Христиане увидели в подобных отрывках словесную икону «Умиления». Имели ли они на это право? Нет ли в подобных прочтениях натяжки? Судите сами, но для большей полноты исходной информации познакомьтесь с отрывками одной из ранних статей Андрея Платонова.

\* \* \*

Статья называется «Душа мира», и говорится в ней о материнстве. Вернее, о вечной тайне материнства в связи с ожиданием полного обновления мира (автор был в те годы восторженным поклонником идеи социального переустройства, революции). Платонов пишет: «Некому, кроме ребенка, передать человеку свои мечты и стремления; некому отдать... свою великую обрывающуюся жизнь. Некому, кроме ребенка. И потому дитя — владыка человечества». То, что дитя — владыка человечества, вполне уместно звучало бы из уст волхвов, пришедших к Христу с дарами, или из уст епископа, проповедующего с кафедры в рождественскую ночь. Прочтем еще:

«Женщина осуществляет ребенка, свою кровью и плотью она питает человечество» (NB!).

«Если дитя — владыка мира, то женщина — мать этого владыки, и смысл ее существования — в сыне, своей радостной надежде, творимой сыном». Стоит лишь написать в этом тексте «сын» с большой буквы, и получится совершенно христианский смысл. Но пойдём дальше.

«...В женщине живет высшая форма человеческого сознания — сознание непригодности существующей вселенной, влюбленность в далекий образ совершенного существа — в сына, которого... она уже носит в себе, зачатого совестью погибающего мира, виновного и кающегося».

Конечно, эти слова рождены верой в эволюцию, в грядущее улучшение человека. В них — наивное признание того, что якобы каждое поколение людей ценно не само по себе, но лишь в качестве ступеньки для восхождения потомков или в качестве гумуса для будущих растений. Но согласитесь, в этих страстных строках есть нечто от прозорливости. Автор утверждает веру в то самое время, когда вера кажется отброшенной за ненужностью.

Саму лексику автор берет неосознанно у веры и Евангелия. Его сострадательный пафос, надо думать, родом оттуда же.

«Но что же такое женщина? Она есть живое действенное воплощение сознания миром своего греха и преступности. Она есть его покаяние и жертва, его страдание и искупление». Итак, по Платонову, мир через женщину осознает свою греховность, в ней страдает за грехи и через нее получает искупление.

«Женщина — искупление безумия вселенной. Она — проснувшаяся совесть всего, что есть. И эта мука совести с судорожной страстью гонит и гонит все человечество вперед по пути к оправданию и искуплению. ...Перед взором улыбающейся матери отступает и бежит зверь».

Женщины бывают разные, и Платонов знает это не хуже нас. Есть Иродиада и Иезавель, есть Крупская и Коллонтай, есть мадам Бовари и госпожа Каренина. Вряд ли о них думал Платонов, называя женщину «проснувшейся совестью» и прочими высокими словами. Огромно число таких женщин, которые не «искупают безумие вселенной», а увеличивают его. Есть вообще только одна Непорочная

в женах и Благодатная, к Которой могут быть отнесены возвышенные прозрения и обобщения автора. Пафосные речи молодого автора ярко подтверждают ту мысль, что наша корневая связь с христианством может быть прочнее, чем кажется нам самим, и некоторых строк иначе не написать, как только будучи крещеным и помнящим из детства свет лампадки в углу перед образами.

Дадим еще слово неверующему проповеднику.

«Женщина — тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска.

Женщина тогда живет, когда желание муки и смерти в ней сильнее желания жизни. Ибо только смертью дышит, движется и зеленеет земля. <...>

Нет ничего в мире выше женщины, кроме ее ребенка. Это она знает и сама.

Ибо в конце концов женщина лишь подготавливает искупление вселенной. Свершит же это искупление ее дитя, рожденное совестью мира и кровью материнского сердца».

Стоит заметить, что, говоря о ребенке, Платонов всюду говорит о «сыне», которого

мне лично так и хочется написать с большой буквы. Хотя по части крови, боли, страхов и трудов вынашивание и рождение девочки ничем от вынашивания и рождения мальчика не отличается, автор везде пишет о «матери и сыне» и нигде — о «матери и дочери». Это не гендерная несправедливость. Это дань Слову Божьему и благодати, просочившейся в сердце. Там, в сердце, благодать может продолжать жить и действовать даже тогда, когда голова напичкана идеями, отказывающимися благодати в праве на существование.

\* \* \*

Когда совестливый человек взволнованно и горячо говорит о том, что его тревожит, слушать его нужно внимательно. Его слова способны вырваться далеко за пределы предполагаемого смысла и открыть нечто новое, нечто такое, с чем автор сам не согласился бы, но что, однако, утверждает против воли.





# Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ



**О**ДНО из имен Христа — Жизнь. Он есть *Путь, Истина и Жизнь*, как Сам о Себе говорит в Иоанновом Евангелии. Очень интересно, что в одной из советских песен звучит обращение к жизни как к личности. Это песня на слова Ваншенкина и на музыку Колмановского. Мало кто не слышал ее в исполнении Марка Бернеса или современных певцов.

Я люблю тебя, Жизнь,  
Что само по себе и не ново.  
Я люблю тебя, Жизнь,  
Я люблю тебя снова и снова.

Вот уж окна зажглись,  
Я шагаю с работы устало,  
Я люблю тебя, Жизнь,  
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Жизнь в этом тексте — это не «форма существования белковых тел», как сказано у Энгельса и как мы учили в школе. Жизнь здесь — не абстрактное понятие, не формула, но объект словесного обращения, признания в любви, если угодно — молитвы. Это — потрясающее подтверждение той истины, что душе так же необходимо молиться, как телу питаться. Отберите у души Бога, она помолится идолу, но все равно помолится. В данном случае молитва звучит. Она завуалирована, эта молитва, но она очевидна.

В звоне каждого дня  
Как я счастлив, что нет мне покоя!  
Есть любовь у меня.  
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

«Жизнь, ты знаешь», «я люблю тебя, Жизнь», «Жизнь, ты помнишь» — эти и подобные выражения выходят далеко за рамки воспеания абстракций. Душе хочется пропеть свои чувства, открыться, что, по сути, может быть названо словом «исповедоваться». Это те самые ключи, которые пробьются из-под земли, сколько их ни асфальтируй.

Таких песен при Союзе было написано немало. Помню одну на слова Расула Гамзатова. «Мне кажется порою, что солдаты, / С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей». Это — ярко выраженная общечеловеческая мифология, в которой человек бессмертен, и мир един, и душа похожа более всего на птицу, поскольку хочет летать и стремится в небо. Прекрасные стихи. Прекрасная песня, простая и чистая, как все гениальное. Советская жизнь была богата по части скрытых движений благородного духа, зашифрованных в словесные формулировки своей эпохи.

Молиться открыто было запрещено, но молиться хотелось, пусть даже и подсознательно. Из этих желаний рождались песни, трогающие душу. Тогда как сегодня можно петь обо всем, но все больше получается петь не столько сердцем, сколько предстательной железой или маточной мускулатурой, смотря по полу открывающего рот под «фанеру» исполнителя. Это — грустный факт, ставящий под сомнение пользу свободы в ее нынешнем варианте. Ведь можно понять свободу как

*Я люблю тебя, Жизнь*

возможность славить Бога ничего не боясь. А можно понять ее как возможность жить во всех грехах никого не стыдясь и ни перед кем не извиняясь.

Весьма интересно, кому на Страшном Суде стоять будет легче – Меладзе или Колмановскому?



# ПОМАЗАННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ



**АНГЛИЙСКИЙ** писатель Уильям Джеральд Голдинг еще при жизни стал классиком. Его роман «Повелитель мух» в 1983 году был удостоен Нобелевской премии. Книга — подлинный шедевр мировой литературы. Странная, страшная и бесконечно притягательная книга. Книга, которую трудно читать — и от которой невозможно оторваться.

Вам знакомы имена этих «богов»: цивилизация, культура, прогресс? «Богов», которым редко кто не кланялся и не кадил в наше идолослужительное время? «Богов», которым приписали всемогущество? Еще бы! Они до неузнаваемости изменили и продолжают менять лик нашей планеты.

Во имя этих богов человек опустился в глубины и забрался на высоты, натворил столько дерзких открытий (или вторжений), что перечень их занял бы целую книгу. На службе у них человек вообразил себя сверхчеловеком. Как голый король, гордо идет по жизни слабый и глупый человек, возмечтавший о себе, что он сильный и умный. И сами «боги», кажется, хохочут над ним.

Тот древний язычник, сказавший: «Познай себя самого», был мудрее нас, познающих все что угодно, лишь бы не повернуть «глаза зрачками в душу» («Гамлет»).

В 1954 году У.Голдинг хотел написать книгу о том, как весело бы резвилась группа мальчишек, попади они случайно на необитаемый остров, где нет ни учителей, ни родителей. С этой идеей Голдинг сел писать, но он не развеселил читателей — он ужаснул их. Алхимики, искавшие философский камень, чтоб исцелить все болезни, изобрели порох, убивающий людей; Колумб, искавший Индию и ее золото, нашел Америку и ее дикарей. Голдинг, сам к тому не стремясь, сказал нам правду о человеке. Вот он — хваленый *homo sapiens*, венец творения, когда с него смывается налет

цивилизации. Мы знакомимся с ним, когда открываем книгу «Повелитель мух».

Когда Дефо выбрасывал волною творческого воображения своего Робинзона на безлюдный остров, он изрядно лукавил. На разбившемся, но не утонувшем корабле он оставил для скитальца ружье, порох, гвозди, пилы... и так далее. Вплоть даже до — Библии! Ни один гордый и развратный европеец не спасся вместе с ним. Ни одну женщину не подарил целомудренный Дефо своему герою. И поэтому ни ревность, ни жажда первенства, ни похоть, ни что-нибудь еще из тех змей, что сосут непрестанно кровь из человеческого сердца, мы не увидели в фантазиях о Робинзоне Крузо. Последнему осталось лишь бороться с природой и побеждать ее при помощи европейских орудий труда да еще миссионерствовать (!) в отношении дикого Пятницы.

Весь роман Дефо есть жуткая ложь о человеке. Всякая ложь оплачивается с процентами, ложь литературная — сторицею. Не литературные ли фантазеры XVIII–XIX веков «залили кровью век двадцатый»?

Старина Голдинг куда правдивее. Он поселяет на безлюдный остров группу отроков

(не младенцев уже, но еще не юношей) и разворачивает перед нашими глазами миниатюрный кошмар, точный слепок того, что мы зовем «историей».

Вначале мальчишки опьянены свободой: ласковое море, фруктовые деревья, отсутствие взрослых... Можно плескаться, резвиться, лазить по деревьям. Никто не крикнет: «Боб, Джек, скорей домой, пора обедать!» Но очень скоро становится понятно, что если тебя долго не зовут обедать, то нет в этом ничего хорошего. На плечи мальчишек ложится тяжесть заботы о том, как выжить. Нужно строить примитивное жилье, обследовать остров, найти пресную воду, нужно отвести место для справления нужды (ведь пища — одни плоды)... Одним словом, нужны законы. И нужен старший, и нужно слушаться его. То есть нужно все то, что так обременительно в жизни взрослых.

А еще нужно, чтобы их спасли. Ведь не век же вековать на острове. Нужно жечь большой костер и поддерживать в нем постоянно огонь, чтобы было видно издалека, — взрослые увидят и спасут их. Все сделано так, как сказано. Но вскоре происходит нечто страшное



и неожиданное: оказывается, не все хотят спастись. Для некоторых жизнь с родителями — прошлое, не подлежащее возврату. И значит, незачем жечь костер, дежурить, ждать, а надо обустроиться здесь, на острове. Надо научиться охотиться и добывать мясо. Надо быть смелыми воинами. У тех мальчишек, кто был с этим согласен, появляется свой вождь. Два вождя на клочке земли у горстки детей. «Мы вернемся», — говорит первый, законно выбранный всеми. Ральф — имя его. «Мы будем жить здесь. Нам нужно мясо», — говорит второй, Джек, и его голос преодолевает.

Творческая интуиция Голдинга идет рука об руку с библейским Откровением. Вскоре после грехопадения люди разделились на сынов Божиих и сынов человеческих. Первые помнили и о Боге, и о потерянном рае. Они стали призывать имя Господне, то есть молиться. Они хотели вернуться, что соответствует поддержанию огня в костре и надежде на появление взрослых у Голдинга. А вторые, сыны человеческие, стали осваиваться на месте изгнания. От них пошли ковачи медных и железных орудий, строители городов, игроки на музыкальных инструментах... Это

были потомки Каина, носившего печать братоубийства и пошедшего прочь от лица Господня.

У Голдинга вождем охотников становится Джек, бывший староста церковного хора (вряд ли эта деталь выдумана намеренно, но она многозначна). Те, кто недавно были похожими на Ангелов, воспевая Бога, на острове стали заострять шесты и плясать с ними, выкрикивая: «Свинью бей! Глотку режь!» Так мальчишки подбадривали себя и готовились к охоте. После первой удачи на охоте запах крови, вкус печеного свиного мяса, опьянение победой над животным делают свое дело: мальчишки становятся совсем дикарями. Нет школы, в которой они учились, нет ни хора, ни церкви, где они пели, нет мира, в котором моют руки, говорят «здравствуйте» и соблюдают массу прочих приличий. А есть пляска ночью у костра, крики: «режь!», «коли!», «бей!», есть деревянное копьё в мальчишеской руке, копьё, уже вонзавшееся в визжащую и беззащитную плоть. Как машина времени, остров перенес детей в доисторическое прошлое. В этом прошлом дети освоились и очень быстро почувствовали себя своими.

Законный вождь — Ральф — не мазался глиной, не ходил на охоту. Он продолжал жечь костер и верить в спасение. Но все меньше и меньше мальчиков оставалось с ним. Они убежали к Джеку и стали его воинами.

На острове, благодарение Богу, нет девочек, да и сами дикари не в том возрасте, когда можно обзавестись семьей. Будь это, мы увидели бы превращение женщины в самку, схватки самцов за право обладания, первые роды, семью и зарождение древней цивилизации. Но без конфликта тем не менее не обойтись: Джеку мешает Ральф и те, кто с ним остался. Копье, вонзившееся в свиную плоть, может так же вонзиться в плоть человека. Бывший староста церковного хора решается на убийство несогласных.

Но почему «Повелитель мух»? Потому что мы — культурны и цивилизованны лишь днем и на улице европейского города. А ночью, в темноте и одиночестве, мир снова кишит «богами», а мы становимся пугливыми и суеверными. А если мы — дети на безлюдном острове, то и подавно. Детей тревожат страхи: им кажется, что кто-то кроме них живет рядом и он, кажется, следит за ними. Неко-

торые даже видели его ночью. Это конечно же чудовище, демон, хозяин острова. Его надо умиловать, чтобы он не гневался и не трогал новых жильцов. У свежезаколотой свиньи Джек отрезает голову и водружает ее на копьё. А копьё вонзает в землю посреди джунглей, где, как кажется, обитает чудовище. Это первая жертва духу острова.

Первой человеческой жертвой становится Саймон. Он понял, что чудовища нет на острове. Вернее, есть, но не то, которого боятся мальчики. «В каждом из нас и есть чудовище», — бежит сказать мальчикам Саймон. Он только что был у полусгнившей свиной головы, облепленной мухами (это и есть «Повелитель мух»), и там многое понял.

Эти страницы романа читаются с наибольшим волнением. Нет смысла их пересказывать — их нужно прочесть. Но важно отметить то, что из-под пера Голдинга в этом месте появляется гордый и хитрый дух — истинный виновник всех бед человеческих. Он появляется в полном противоречии с первоначальным замыслом книги. Он беседует с Саймоном...

Когда Саймон бежал к друзьям поделиться своим открытием, они плясали у костра

ритуальный танец. Через несколько минут истыканное копьями мальчишеское тело унесли океанские волны. После этой смерти была еще одна, более циничная и бессмысленная. А затем жажда убивать и получать от этого удовольствие разгорается в некоторых юных душах. И Джек уже не совсем вождь, поскольку появляются более жестокие и решительные, чем он. Оставшегося в одиночестве Ральфа ждет неминуемая смерть от вчерашних друзей.

Ради тех, кто прочтет эту книгу, умолчим о ее финале. Скажем о другом, важном для всех читавших и не читавших Голдинга. Не так ли мы надеялись прожить жизнь, как автор собирался писать книгу? Не представлялась ли всем нам жизнь легкой и приятной прогулкой? И не была ли правда жизни для нас такой же ошеломляющей и страшной, как этот роман?

Спасибо Голдингу: он наотмашь хлещет лгуна Руссо и не оставляет от него (а значит, от Толстого и многих других) камня на камне. Человек, говорите вы, по природе очень хорош, нужно лишь избавить его ото лжи культуры, города и цивилизации? Вот вам

ваш «хороший» человек на лоне природы — прочитайте «Повелителя мух».

Другие говорят: «Человек нейтрален — *tabula rasa*. Пиши что хочешь, все дело — в воспитании». Вот вам воспитанные в строгих семьях, крещеные и ученые английские дети, англичанином же описанные. Иные из нас, азиатов, и до старости столько воспитания не получают, сколько те за пару лет. И все это, как оказалось, лишь макияж, грим, который легче легкого меняется на боевую дикарскую раскраску. Не верите? Прочтите «Повелителя мух».

Мы остаемся при том учении, что слышали от начала. Человек болен, испорчен, поломан, запачкан. Грех обезобразил всех и каждого. Это то чудовище, которое живет в каждом. Голдинг подвел нас к той мысли, которую понял Саймон. Ну а дальше уже нужно читать Священное Писание и святых отцов.

Ральф жег костер и надеялся. Люди Божии, начиная с Еноса, призывали имя Господне.

Призовем и мы. И будем надеяться.

Господи, помилуй!



# СТАЛКЕР И ЕГО СПУТНИКИ



**Р**АБОТА экскурсовода трудная. Зная одну из тем мировой истории, или искусства, или литературы до доньшка, до генетического уровня, он вынужден день за днем рассказывать по верхам одну и ту же тему пестрым толпам туристов и посетителей. Паркет скрипит под ногами. Воздух, насильно погруженный в тишину, кажется застывшим.

«Пожалуйста, не шумите», «Сфотографироваться вы сможете позже», «Не трогайте руками экспонаты», «Если у вас будут вопросы, вы сможете задать их в конце».

Вопросы люди задают редко, экспонаты трогают постоянно, слушают невнимательно, и у многих вид такой, словно их централи-

зованно привели из школы и они отбывают повинность.

«Весьма не сложно сделаться капризным, / По ведомству акцизному служа», — говорил поэт.

«Весьма не сложно сделаться мизантропом, — говорю я, — работая экскурсоводом».

Некоторые, всю жизнь проведшие в тиши экспозиций, и сами становятся похожи на экспонаты и на живые приложения к стендам и артефактам. Другие, только что вышедшие из университетов, восторженны и любят свое дело как первую любовь. Им обыкновенно к концу рабочего дня шепчут старшие, утратившие творческий пыл: «Наденька, не увлекайтесь. Скоро закрываемся». И есть третьи, те, что похожи на мизантропов. Это молодые люди (чаще — женщины), хорошо знающие свое дело, но с горечью осознающие себя мечущими бисер перед сами знаете кем.

Они презрительно-сдержанны и дежурно тарабанят заученный текст так, как если бы жарили глазунью нелюбимому мужу. А ведь могли бы (в случае любви) развернуться всей душой навстречу людям и пропеть такую песню, что ожили бы дагерротипы на стенах



и разразились бы боем давно не ходившие часы.

Но кому петь? Соловей тоже может утратить голос в рабстве, и тем быстрее, чем чаще будет подходить к его клетке отобедавший хозяин и, масляно улыбаясь, просить: «Спой, птичка».

«А ведь он наш друг», — говорю я. «Он» — это экскурсовод, а «мы» — это пастыри, учителя, педагоги, родители. Христиане, в конце концов. Дай Бог, чтоб отшумели навеки те времена, когда человек гордился тем, что он «университетов не кончал», и с удовольствием при этом крутил на пальце наган перед оробевшим гражданином в пенсне и галстуке. Дай Бог, чтоб человек не выпячивал грудь колесом при словах «я этого не знаю», дескать «и знать этого не хочу», а чтобы учился человек с любовью и без стыда. И в деле этом экскурсовод — не последний помощник.

\* \* \*

В одном музее, имя которого слишком громко, чтобы поминать его лишний раз, очередной экскурсовод в летах стоял перед очередной группой местных жителей и гостей города, заполнявших брешь в образо-

вании посещением всемирно известного места. В двух словах познакомив граждан с той жемчужиной, внутри которой они находились, сказав немного о количестве экспонатов и о времени, которое нужно затратить, чтобы увидеть хотя бы половину из них, экскурсовод наконец задал вопрос. Дело было в годы советские, незадолго до смертных конвульсий рабоче-крестьянского государства, поэтому лексика была соответствующей.

«Товарищи, кто из вас знает что-нибудь о жертвоприношении Авраама?» Несколько человек робко подняли руки.

«Кто из вас слышал хотя бы краем уха об истории Иудифи и об Олоферне?» Опять несколько рук.

«Поднимите руку те, кто в общих чертах знает историю Прекрасного Иосифа?»

Она спросила еще про самарянку, про медного змея, кажется, про дочь Иаира. А затем сказала, обращаясь к тем, кто робко поднимал руку: «Вы, пожалуйста, идите за мной. В следующих залах все картины так или иначе связаны с библейской тематикой. Ну а вы (она хотела сказать «господа», но сдержалась), товарищи, дальше осматривайте экспозицию

по личному плану. У меня, простите, нет времени отвлекаться на объяснение хрестоматийных библейских сюжетов».

Как вам история? Тот, кто рассказывал ее мне, оказался в группе «посвященных», поскольку слышал что-то о чем-то и рискнул поднять руку. «Я не простил бы себе, — говорил он, — если бы не увидел и не услышал того, что было предложено в последующей экскурсии. И острый стыд, рожденный нашим общим невежеством, стал с тех пор движущим мотивом моего чтения и самообразования».

Мир интересен. Мир красив как звездное небо, где каждая видимая звезда — известный интересный человек, а бесчисленные невидимые для глаза звезды — люди вообще интересные, хоть и неизвестные. И память сшивает распадающийся мир воедино, память историческая, память культурная. Беспамятство же — это смерть и распад, рожденный не тем, что «мамка в детстве уронила», а тем, что «мне это без надобности».

\* \* \*

Вандалы мочились в александрийские вазы из куража и разбивали мраморные статуи

из-за утилитарной бесполезности. Смерть же христианской цивилизации придет как внутреннее варварство. И творцом этой смерти, ее Хароном-перевозчиком будет сытый, но вечно недовольный бездельник, скрыто и люто ненавидящий все то, что не может или не хочет постичь. Он лучше придумает себе новое искусство, в котором экспонатом станет разрубленная свиная голова, чем решится на терпеливый труд знакомства с шедеврами.

\* \* \*

Между тем высокая культура — это не «цацки» и изучение ее не есть способ убийства времени. Она может быть преддверием к катехизации, как мы, надеюсь, показали на примере. Но она же есть и способ выживания.

Доктор Бруно Беттельгейм в книге об опыте выживания в концлагере говорит, что выживали и оставались людьми в лагерном аду те, кто имел о чем думать кроме еды и собственно выживания. Культура же в подлинном смысле и есть умение думать о чем-то еще кроме еды и собственно выживания.

Человек, которому не о чем думать, жуток.

И Оливье Мессиа́н, классик современной французской музыки, органист и орнитолог, прошедший через нацистскую фабрику перевоспитания, свидетельствует о том же. Возвращаясь с работы в барак, по ночам он читал узникам лекции по истории мировой музыки. Живые скелеты, люди, доведенные до отчаяния, сползались к его нарам, чтобы послушать о дорийском ладе, о григорианском хорале, о поисках Пифагора и новаторстве Баха. Сползались не все. Многие сворачивались в клубок на нарах и проваливались в сон, чтобы наутро опять брести на работу. Так вот что стоит отметить: выжили не те, кто отдыхал, а те, кто жертвовал сном ради, казалось бы, бесполезных музыкальных лекций.

\* \* \*

У Тарковского в «Сталкере» в опасную, но вожделенную «зону» отправляются писатель и ученый. Физик и лирик, иными словами, если пользоваться лексикой шестидесятников. И пусть они не дошли, вернее, дошли, но дрогнули и не вошли во святое святых. Но шли именно они, физики и лирики, искатели смысла и умственные труженики.

*Наука без благодати – гордое чванство и мать катастроф.*

*Искусство без благодати – сильнодействующий наркотик.*

И пусть они — наука и искусство, — по слову Григория Нисского, «вечно беременны, но вечно не могут родить», все же сам факт беременности отрицать нельзя. Они озабочены Истиной и безразличны к ней. И право, абсолютное бесплодие совсем не лучше такой специфической беременности.

Они — наши друзья, эти сержанты и рядовые огромной армии учителей и экскурсоводов. В то время как на христианский мир тяжелой кулисой опускается ночь нового варварства, они идут, как встарь, по улицам с лестницей и горелкой и зажигают газовые фонари. Это фонари смысла и благодарной памяти.

Чтобы они не становились мизантропами, чтобы они не разуверились в надобности своей профессии и полученных ими знаний, мы должны вспоминать о них чаще. Должны сделать эти знания востребованными и любимыми. Мы — это пастыри, родители, педагоги. Христиане, наконец.

# НУЖНО ЧИТАТЬ



**Е**СЛИ бы я не любил поэзию Бродского, если бы я вообще был глух к рифмованным и ритмичным звукам и сочувствовал только плотной ткани прозаического текста, то и тогда одна фраза из Нобелевской речи заставила бы меня уважать Иосифа Александровича. Он сказал: «Человек — это продукт чтения». То есть не меньше, чем родившая эпоха и воспитавшие родители, человека формируют, лепят, делают прочитанные книги.

Книга — это письмо в бутылке, написанное главным образом не для тех, кто рядом, а для кого-то, живущего не здесь и не сейчас. Главный читатель всегда за пределами видимости. В этом есть нечто грустное и божественное одновременно. Грустное потому, что книга —

это свидетельство человеческой глухоты, свидетельство невозможности докричаться и достучаться до современника. Человек пьет суету как воду и взглядом скользит лишь по поверхности. «Что Пушкин? Сложный человек, посредственный семьянин. Стишки, правда, временами хороши...» И только бронза, сковавшая тело, дает окрепнуть связкам, а голос, очищенный от повседневности, звучит беспримесно и чисто. Еще хуже, если пишущего человека расслышали, но неверно поняли. Но в любом случае, будь мы поумнее и повнимательнее, самые главные мысли выговаривались бы на ми с глазу на глаз, устами к устам, и половина типографий вынуждена была бы закрыться.

Но и тот факт, что крючочки и точки, смело стоящие на бумаге и говорящие всем одно и то же, тот факт, что эти значочки/буковки способны сквозь столетия доносить до людей сердцебиение далекого автора, говорит о божественной природе письменности и о бессмертии человека.

\* \* \*

Вот история из жизни моих друзей. Муж читает «Дэвида Копперфилда», жена рядом



убирает вещи в шкафу. Не поворачиваясь к мужу лицом она окликает его и не слышит ответа. Окликает еще. Поворачивается и смотрит на мужа с удивлением. Взрослый мужик впился глазами в книгу, и глаза его влажны. Он не видит жену, не слышит ее голоса и вряд ли сейчас способен назвать свою фамилию. Через минуту он с гримасой боли отрывается от текста и упавшим голосом говорит сам себе, никому, просто говорит: «Стирфорд обольстил малютку Эмли». Это финал. Дальше ехать некуда. Если такое возможно, то дело не в мастерстве Диккенса и не в чувствительности его читателей. Дело в том чуде прикосновения друг к другу сквозь столетия; в чуде, на которое способен только человек и имя которому — искусство.

\* \* \*

Между Гомером и временами осады Трои лежала пропасть, сопоставимая с той, что лежит между нами и Мамаевым побоищем. Кто знает, что чувствовал он сам, когда описывал похороны Гектора и рыдания его матери? Но вот спустя столетия бродячие артисты в Эль-

синоре ставят античную пьесу и Шекспир устами Гамлета произносит: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает». И мы, чувствуя иррациональную силу и правду этих слов, смешиваемся воедино, где и когда бы ни жили: Гекуба, Гектор, Шекспир, Гамлет, Козинцев, Смоктуновский, режиссеры, читатели, зрители...

Вселенная людей сжимается до размера ладони. Мы чувствуем ее тяжелое единство, как будто взвешиваем в руке слиток благородного металла. Бессмертный дух, затейливые буквы, горящая и легкая бумага. Всё вместе — чудо!

\* \* \*

Речь не идет сейчас о Книге книг. Речь идет о книгах вообще. Хотя бы потому, что все книги как-то связаны с Библией. Древние хроники связаны стилем и смыслом с книгами Царств. Любовная лирика разных народов узнает свои черты в Песни Песней. Письма, притчи, послания, рассказы — все эти жанры есть в Писании, и любую хорошую книгу можно считать расширенной и истолкованной цитатой из Библии.

Святитель Николай Сербский пишет: «Многие говорят – читайте Библию. Я же скажу – прочтите Библию, а затем пять лет не читайте ее. Читайте всё, кроме нее, а через пять лет опять прочтите Библию. Тогда вы поймете, что она такое». Если кто-то исполнит эти слова на деле, он скажет нам не только о глубине, о вечности и точности Божиих слов, о том, что они слаще меда и драгоценнее отборных камней. Он также поведает нам о том, что те за пять лет прочитанные книги тоже не были прочитаны даром. Во многих из них есть лучи того же света, только эти лучи рассеяны, а не сфокусированы. Он скажет нам о том, что многие страницы потрясли его, будили совесть, рождали глубокие и чистые мысли.

\* \* \*

Библия принципиально переводима. Есть много книг, и старых и современных, смысл которых теряется за пределами породившей их культуры. Писание не таково. О нем нельзя сказать то, что говорит главный герой в фильме «Ностальгия». Он слышит стихи Тарковского в итальянском переводе и говорит читаю-

щей их девушке: «Выбросьте это. Стихи не переводятся». Под этими словами, с некоторыми оговорками, подписались бы многие переводчики и знатоки литературы. Но эти слова не про Библию. Она создавалась Богом, то есть вдохновлялась и затем проговаривалась и записывалась как Слово, через немногих обращенное ко всем.

\* \* \*

Интересно то, что люди пишут справа налево, слева направо и сверху вниз. Но никогда — снизу вверх. Письмо — это знания, а знания всегда сверху. Это — дождь на землю, а не пар от земли. И отношение к письму традиционно сакрально. Поэтому европейцы долгие столетия учились читать по Часослову и Евангелию. Евреи учили детей читать именно с целью общения с Богом через книгу. Таковы же и интуиции мусульман. Во всех мировых культурах через обучение грамотности человеку давали ключ к хранилищам премудрости. В новейшие времена ситуация изменилась. Человеку дают ключ, но не говорят, где дверь. Владелец ключа становится похожим на деревянного мальчика. Он ищет

некую дверцу, попадает в руки разбойников, посещает страну дураков, и в реальной жизни все заканчивается не всегда так счастливо, как в сказке, содержащей намек на притчу о блудном сыне. Но все равно это похоже на окружной путь паломника. Путь совершается не по полному бездорожью. На этом пути есть знаки, и путник обязан их читать.

У нынешнего путешественника почти всегда в руках путеводитель. В нем могут быть ошибки, он может устареть. Но он есть. При помощи письменных знаков люди сверяют маршрут, ходят кругами, топчутся на месте, пока не дойдут до нужной точки и, опять-таки, не прочтут нужную надпись над воротами в Изумрудный город.

\* \* \*

Нужно читать. И нужно учиться читать то, что нужно. Нужно читать хотя бы потому, что поговорить бывает не с кем, а человек не может жить не разговаривая.

Человека действительно делают книги. Оказался он в притоне или во дворце, в болоте или на вершине горы — во все эти места его привели путевые письменные знаки — книги.

*Нужно читать*

Было бы лучше не уметь читать, знать Истину и не заблуждаться. Но раз уж мы заблудились, ищем дорогу и обучены грамоте — иного пути у нас нет. Человек современный — это всегда продукт чтения.



# ПОКЛОНИТЬСЯ ТЕНИ



**А**.Ф.Лосев писал, что изучение истории философской мысли для многих людей похоже на прогулку по тихому кладбищу, где на величественных надгробьях начертаны имена мыслителей. Между тем, продолжал он, погружение в мир философских идей есть погружение в мир живой и даже кипящей жизнью, поскольку ни одна из философских идей умереть не может. Те же слова можно произнести применительно к поэзии. Томик стихов смиренно стоит на полке и может казаться бездушным. Так же мнимо бездушен музыкальный инструмент, пока он не окажется в руках мастера. В случае со стихами достоинство мастера принадлежит читателю. Всем тем, кто силится писать «свое» и не про-

сживается ночей за чтением «чужого», следует познакомиться с мыслями Мандельштама о поэзии. Осип Эмильевич считал искусство чтения ничуть не меньшим искусства писательского, а воспитание читателей полагал необходимым условием появления впоследствии великой литературы.

Что бы там ни говорили о влиянии планет, о карме и магнитных бурях, души влияют друг на друга, и ничто, даже смерть, этому влиянию не помеха, если одна душа доверила свою боль и радость бумаге, а вторая умеет читать. Что сближает людей посредством таинства чтения? Узнает ли читатель самого себя в том, что читает, или, напротив, жадно пьет то, чего в нем нет, то, чего ему не хватает? Согласимся признать тайной и этот вопрос. Будем с любопытной робостью продолжать наблюдение за тем, как один человек плачет над Есениным и проходит мимо Пастернака, словно это телеграфный столб. Отметим чью-то любовь к футуристам при отсутствии всякого интереса к Пушкину или Тютчеву. Не оставим незамеченной ужасающую глухоту большинства к поэзии вообще. Скажем при этом то, что сказал пациенту доктор в одном «черном»



и жестоком анекдоте. «Слава Богу», — сказал доктор. «Что — слава Богу?» — спросил пациент. «Слава Богу, что у меня этого нет», — ответил доктор.

Иосиф Александрович для меня лично жив. Не только потому, что «у Бога все живы». Он жив как поэт и личность, продолжающая излучать на читателя направленные волны душевного воздействия. При этом его влияние не разливается вокруг, как лучи от солнышка, а является именно направленным, исповедальным, диалогичным, предполагающим одного собеседника, а не переполненный концертный зал. Так мне кажется. Общение с Бродским — это подобие «Ночи в Лиссабоне» Ремарка, где вынужденно отложенный рейс сближает двух не знакомых дотоле людей, из которых один произносит исповедальный монолог, а другой, позабыв себя, слушает. Иногда Бродский попросту измочаливает и пережевывает душу, так что читатель вынужден отложить книгу надолго, чтобы дать душе успокоиться. Долгая боль, не желающая прекращаться, — вот что приходит мне на мысль при произнесении фамилии Бродский. При этом сама фамилия не виновата. Евреев с родственными корнями,

уходящими в городок Броды в Галиции, очень много. Биографии многих из них любопытны и вызывают весь спектр эмоций от уважения до иронии. Печаль рождает только поэт, родившийся в Петербурге, сказавший однажды:

Ни страны, ни погоста не хочу выбирать.  
На Васильевский остров я приду умирать.

Печаль эта лично для меня многократно усиливается от невозможности поминать имя Иосифа у Чаши. Будь он православным, я отказался бы от чтения его стихов в пользу неизмеримо лучшего способа общения с его душой — при Евхаристии.

Бродский закалялся и выковывался, кроме всего прочего, в трудах переводческих. Под «всем прочим» я имею в виду огромную жажду жизни и любознательность, вынудившие поэта сменить добрую дюжину профессий — от работника геологических экспедиций до санитар-патологоанатома. Эта деятельность нарастила на скелете личности мускулатуру жизненного опыта. Но поэтом, конечно, из-за этого не станешь. Перевод — вот истинная

школа, в которой, с одной стороны, душа обогащается чужим опытом, а с другой — появляется и собственное творчество при переплавке и перечеканке чужих сокровищ в собственную монету.

Я помню тот день, когда впервые прочел переводы Бродского из Джона Донна. Это было ни на что не похоже, и некоторые строчки врезались мне в память, возможно навсегда.

Я еду, ибо мы — одно,  
 Двух наших душ не разчленишь,  
 Как слиток драгоценный. Но  
 Отъезд мой их растянет в нить.

Это было «Прощание, запрещающее грусть». Позже я читал много вариантов перевода этого стихотворения, но ни одно меня так не взволновало. А тогда (дело было в армии) я повторял эти стихи на разводах и в постели после поверки. Нравилась особенно третья строка, непривычно обрывающаяся частицей «но». Было грустно и сладко, совсем как Татьяне, начавшей бредить любовью к Онегину.

Нечто подобное пережил сам Бродский, который был зачарован поэзией Донна. Из-

вестный многим благодаря своей сентенции о колоколе, который «звонит по тебе», сентенции, вынесенной Хемингуэем в эпиграф романа «По ком звонит колокол», Донн был и впрямь фигурой незаурядной. Стихи, которые он писал, квалифицированы как поэзия метафизической школы. Поиск смысла жизни, попытка разобраться в себе и в мире, жизнь души, насыщенной одновременно и медом, и полынью, — в подобных стихах. Донн — священник, настоятель собора Святого Павла в Лондоне. От подобной поэзии рукой подать до христианства как такового. Сам Донн в зрелые годы перестал писать стихи, счел их юношеской забавой и сконцентрировался на проповедях, став одним из блестящих проповедников эпохи. Я вспоминаю об этом и в который раз думаю о том, что расстояние от Иосифа Александровича до богословия в какой-то момент было меньше вытянутой руки. Шальная строчка типа «а счастье было так возможно» вертится в голове, но прожитая жизнь бронзовеет. Она такова, какова есть, и другой не будет, хотя при жизни могла меняться и в результате стать и такой, и этакой, и разэтакой.

Еще Бродский напорист. Он вгрызается в языковую ткань с упорством голодной мыши, вгрызающейся в сыр. Бродский любил повторять слова У.Одена о том, что поэты — это органы существования речи. Через поэтов язык жив, и язык сам, как некое лично живое существо, выговаривает прячущиеся в нем идеи. Так думал Оден. Бродский был с ним полностью согласен. Бродский говорил, что именно язык рождает поэтов и поэзию, а не наоборот. От этой теории веет настоящим шаманизмом, но в случае с Бродским она работает. Поэт грызет языковую ткань. Он, словно кит, пропускающий сквозь себя десятки тонн воды ради планктона, пропускает через мозг и сердце речь, и благодарная речь шифруется в шедевры.

Упорство, необходимое для подобного шаманства, Бродский берет из крови, точнее — еврейской крови.

Иосиф Александрович в пух разбивает наши ходульные представления о том, что если еврей работает лопатой, то лопата должна быть с мотором. Он освоил и сменил десятки профессий, причем самых низовых, «грязных». Свой полукрестьянский быт в станции Норенской вспоминал как лучшую часть

своей жизни. Его постоянно тянуло на военную службу, и если бы не пресловутая графа о национальности, мир взамен поэта получил бы летчика-испытателя или подводника Бродского. Я говорю об этом мимоходом, как бы оговариваюсь насчет еврейской крови и связанных с ней стереотипах. Как бы там ни было, советский еврей — это не просто еврей, а еврей плюс еще что-то.

Главный признак этой крови, проявившийся в Бродском, есть настырность, умственная выносливость. Это — побочный продукт многовековой школы мысленного труда по изучению Писания и сопутствующей литературы. Веками поупражнявшись в области экзегетики, анализа и запоминания, евреи выработали в своей натуре нечто, позволяющее им успешно трудиться там, где царствует мысль, как слово и мысль, как цифра. Еврей-математик, еврей-физик — это побочный продукт многовековой мыслительной деятельности, переданный по наследству. Это сказано впервые не мной. Я только повторяю то, с чем согласен.

Миру не впервой питаться плодами побочной деятельности. Искали путь в Индию — нашли Америку. Искали философский

камень — заложили фундамент современной химии. Строили на земле подобие Царства Божия — получился европейский мир с правами человека и бытовыми удобствами. Точно так же и здесь. Врожденная настырность и расположенность к умственному труду позволили Бродскому испытать на себе теорию У.Одена. Результаты впечатляют, хотя в том, другом мире отношение к результатам наверняка переоценивается.

Он очень взрослый поэт. У него нет четко очерченных периодов роста, переходов от юношеской робости и восторгов к словам «не мальчика, но мужа». Как Афина, родившаяся в готовом виде из головы Зевса и сразу ставшая бряцать оружием, Бродский явился словно в готовом виде, со стихами, мимо которых не пройдешь. Надо прочувствовать смысл слов Ахматовой, которая после знакомства с «Большой элегией Джону Донну» сказала Иосифу: «Вы не понимаете, что вы написали».

Эта скорбная строгость поздней поэзии, эта позднеантичная элегичность, звучавшая в юности, эта всегдашняя грусть и отстраненность лично на меня действовали магически. Я хотел бы в юности иметь такого старшего

друга, одновременно битого жизнью и широко образованного, разговоры с которым заменили бы мне чтение многих книг. Он закуривал бы при встрече и, сощурившись после первой затяжки, в прозе рассказывал бы мне то, что всем вообще говорил в стихах: «Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах, лабазах, банях, бревенчатых теремах, ложись головою в угол, ибо в углу трудней...» — и так далее.

Такого старшего друга не было. Поэтому я с жадностью читал стихи, тем более что многое в них было написано и даже озаглавлено как назидание. Многое я помню до сих пор, как, например, вот это:

Гражданин второсортной эпохи, гордо  
Признаю я товаром второго сорта  
Свои лучшие мысли, и дням грядущим  
Я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Кто не задыхался, пусть проходит мимо насвистывая шлягер. Но я задыхался, временами задыхаюсь и поныне и эти стихи воспринимаю как адресованные мне лично.

Были и другие строки, которые невозможно до сих пор читать без поднимающегося от сердца к горлу комка.



Так долго вместе прожили, что снег,  
Коль выпадал, так думалось — навеки,  
Что, дабы не зажмуривать ей век,  
Я прикрывал ладонью их, и веки,  
Не веря, что их пробуют спасти,  
Метались там, как бабочки в горсти.

Не раскрывая книг, только скребя по сусекам памяти, можно было бы наскрести достаточно стихов для поэтического вечера. Но статья о поэзии хороша тогда, когда количество цитат в ней минимально. Что толку переписывать стихи, увеличивая объем своего труда за счет чужого богатства? Жаль, что я понял это не так давно.

Что я вообще понял? Понял, что любить — не значит со всем соглашаться. Я не согласен с Бродским в том, что Цветаева лучше Ахматовой, не до конца согласен с теорией Одена о жизни языка через поэтов. Он готов был матом огрызнуться на слова о необходимости страдания для гения. А я матом на эти слова огрызаться не буду. Я с ними согласен.

Мы были однажды в Риме, были там глупо, мимолетно и почти случайно. Была осень, более теплая, чем наш июль. Во дворе русского прихода на улице Палестро после службы

нас угощали обедом. Конечно, это были макароны и много сухого вина. Двор был затянут виноградом. Сквозь листья пробивалось солнце и, ложась на людей сотнями пятен, делало всех похожими на одетых в камуфляж. Или нет. Мы были похожи на выдуманных античных людей с картин Генриха Семирадского. Приход чувствовал пожилого и благообразного писателя, давно покинувшего Родину и не переставшего по ней страдать. Там была сказана фраза о том, что гений то ли рождается, то ли закаляется от неразделенной любви. На этих словах Иосиф Александрович бы выругался.

Но — зря. Ведь он не закалил бы свой высокий голос гения-одиночки, если бы М.Б. была под боком, если бы сына он водил за руку в школу, а не писал ему стихи «Одиссей Телемаку». И если бы Родина не пнула пониже поясницы или хотя бы пустила на похороны родителей. Мир бил его за нежелание петь хором. А он уперто продолжал свое соло, и последние его песни воистину стали похожи на «Осеннюю песнь ястреба», замерзающего и падающего наземь в штате Коннектикут.

Пройдя земную жизнь до половины, тосканец Алигьери спустился в ад в сопровождении Вергилия. Тень некрещеного учителя была для Данте проводником в загробном мире. Пожалуй, именно этот образ, один из материнских образов европейской культуры, вдохновил Бродского назвать свое эссе, посвященное Одну, «Поклониться тени».

В мире идей иногда можно пользоваться чужим не боясь прослыть вором. Я пишу эти строки в память о любимом мною поэте и хочу озаглавить их так же: «Поклониться тени».

Кто знает, быть может, я не раз еще попробую писать о Бродском. Вспомнятся другие стихи, придут на ум другие заглавия для новых статей. На данный момент то, что я чувствую, лучше всего поддается выражению именно благодаря этому плагиаторскому названию.

Я кланяюсь вашей тени, Иосиф Александрович.



# О КНИГАХ



**К**НИГА должна быть везде: в кармане плаща, на ночном столике, в бардачке автомобиля. И везде нужна Библия, но не всегда целиком. То, что «Библия» — это множественное число от слова «книга», то, что это не одна книга, а большое собрание различных книг, мы не всегда помним. Виной тому — дешевизна бумаги и ее тонкость, позволившая соединить под одной обложкой слова и Моисея, и Давида, и Сладчайшего Иисуса. Только Псалтирь как отдельную книгу мы воспринимаем привычно. Несправедливо.

У меня есть карманное издание Соломоновых книг: Притчи, Песнь Песней, Проповедник. Ее удобно читать в транспорте или в парке на лавочке. Но этого мало. Хочется иметь

небольшое по размеру издание Апокалипсиса. Именно эту книгу лучше всего читать вне дома.

Однажды в Москве, на пути между Покровским монастырем и Афонским подворьем, я подумал, что по этому городу хорошо бы ходить с акафистником.

Однажды в Риме, на развалинах форума, я подумал, что здесь нужно сидеть или бродить с томиком стихов.

Однажды в Питере, в водовороте мостов и театров, среди хоровода статуй, стало жалко, что нет под рукой хорошего путеводителя.

Но потом в Киеве, как-то раз под вечер, когда зажглись огни и пересох поток автомобилей, захотелось читать именно Апокалипсис. По Киеву тоже можно ходить и с Часословом, и с акафистником, и со стихами, и с путеводителем. Но и в Киеве, и в Риме, и в Амстердаме, и в Москве необходимейшая книга — Апокалипсис. Суть не в гаданиях о том, выполз ли уже на берег из моря «зверь». И не в том, какие слова относятся к нашей эпохе, точнее: сказания Ангелу Филадельфийской Церкви. Суть не в страхе от того, что пророчества сбываются

ся, а в том, что большие города — это широкие полотна вспомогательной информации для ощущения апокалипсических картин.

Живи сейчас кто-то из великих отцов, его интерпретация Откровения нестрила бы окружающими фактами так, как сверкает и искрится от драгоценностей ювелирный магазин. Краткий слоган на рекламном щите, названия банков, выражение глаз красотки на витрине стали бы расшифрованными знаками того, что видел когда-то Иоанн на Патмосе.

Ходить по улицам большого города нужно держа в уме образы Откровения. Читать Откровение нужно параллельно вникая в колонки ежедневных газет.

Я очень нуждаюсь в отдельном карманном издании Апокалипсиса. Иллюстраций не надо. Глаза людей в метро будут лучшими сопровождающими картинками. Пусть Псалтирь поется и Евангелие читается в храме, пусть Бытие читается у реки или в лесу, пусть в классе разбирается книга Деяний. Апокалипсис пусть читается в час пик у окна в троллейбусе.

Жизнь нельзя отделить от книги, и книгу нельзя вырывать из жизни. Хочешь или нет,

нравится или не нравится, но серпантин истории разворачивается и, зацепившись за уличные фонари и ограды, повисает, как карнавальное украшение.

Совершенно не скучно жить, если тебя везде окружают книги и особенно если прочитанное совпадает с увиденным.



# КАК ЧИТАЕШЬ И ЧИТАЕШЬ ЛИ ВООБЩЕ?



**Е**ВАНГЕЛЬСКУЮ притчу о милосердном самарянине предваряет диалог Христа с неким законником. Тот спросил: *Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?* (Лк 18, 18).

Христос же сказал ему: *в законе что написано? как читаешь?* (Лк 10, 26). А тот в свою очередь: *возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя* (Лк 10, 27).

\* \* \*

Для нас должен быть важен двойной вопрос Христа. Не просто «что написано в законе?», но еще и «как читаешь?» Закон ведь



написан хитро. Он дан не как кодекс, а как ребус. И его необходимо правильно читать. В противном случае можно вывести из него что душе угодно и подкрепить цитатой. Но это будет не тот образ чтения.

\* \* \*

Привычная для христианского уха и глаза двойная заповедь о любви к Богу и ближнему не прописана в законе черным по белому. Ее предстояло найти, открыть в процессе многолетнего труда всей общины, всего народа.

Вот слова о любви к Богу из Второзакония: *Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими* (Втор 6, 4–5). Но там нет нигде рядом слов о любви к ближним. Их предстояло найти.

\* \* \*

Слова о любви к ближнему находим в книге Левит (сложнейшей, полной обрядовых предписаний, не могущих ныне исполняться по причине отсутствия ветхозаветного Храма). *Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь* (Лев 19, 18).

*Как читаешь и читаешь ли вообще?*

Совершенно разные отрывки в море Писаний. Никакой непосредственной, изначально данной связи. Но вот они кем-то найдены и соединены вместе. Затем находка превращена в учение, и учение широко преподается. Оно правильное. Очевидно, были иные, неправильные находки и ошибочные доктрины. Отсюда вопрос: как читаешь?

\* \* \*

То, что мы легко и просто соединяем, нашли и соединили до нас. Нам многое разжевано и в рот положено. Чтобы славословие Единосущной и Нераздельной Троице проносилось всюду легко и привычно, нужно было столетиями бороться за чистоту молящегося и славословящего ума таким гигантам, как Василий и Григорий. Так же и привычное понимание заповедей выношено древними и подарено нам. Изобретать все заново не нужно, но отдать должное труду предшественников необходимо.

\* \* \*

Христос хвалил веру фарисеев, но не велел поступать по их делам. По сути упрекал

их за лицемерие. В то же время саддукеев вообще не хвалил. У тех и вера была крива, и жизнь — соответственно. Нужно серьезно разбираться в вопросе, чья вера хороша при недостатках в образе жизни, а у кого то и то прогнило. Если в этом не разбираться, нарушится заповедь о лжесвидетельстве.

\* \* \*

Фарисея Христос спросил: как читаешь? Нас сегодня уместно спрашивать: что читаешь? Или: читаешь ли вообще? В случае отрицательного (а он будет преобладающим) ответа уместно спрашивать: почему не читаешь?

И только вот не надо этих всех «времени нет», «да так, знаете ли, как-то» и прочее. Не любишь Бога, потому и не читаешь. Живешь как свинья, потому и не пребываешь в слове, да и не стремишься пребывать. Ответы проще и жестче, чем это привычно толерантному уху безразличного к Богу гражданина.

\* \* \*

Надо начать читать, даже если не совсем понимаешь что читаешь. Так поступал евнух эфиопской царицы, бывший во дни апостолов

*Как читаешь и читаешь ли вообще?*

в Иерусалиме на празднике. Дух сказал Филиппу (апостолу): *подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стрижущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо возьмется от земли жизнь Его* (Деян 8, 29–33).

Это, кстати, мессианское место пророчеств, сильнейшее по смыслу. Его всякий священник читает на проскомидии, приготавливая Агнца из просфоры.

\* \* \*

Итак, евнух читал не понимая и не стеснялся спросить. Не стыдно не знать. Стыдно не хотеть знать или делать вид, что знаешь, надутыми щеками прикрывая махровое невежество. Евнух же сказал Филиппу: *прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе* (Деян 8, 34–35).

В разговоре об Иисусе, в деле благоговения, всегда нужно искать, за что зацепиться. Если зацепиться не за что — беда. Филипп нашел, но заслуга — на евнухе, ибо тот читал.

Вскоре произошло и крещение.

\* \* \*

*Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евуна, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь (Деян 8, 36–39).*

Как читаешь?

Что читаешь?

Разумеешь ли, что читаешь?

Удивительно важные вопросы, непонятность которых или пренебрежение которыми сигнализирует о языческом, а не христианском мире.

*Как читаешь и читаешь ли вообще?*

Вот Пасха пришла и началось чтение Деяний. Соответственно начаться должна и проповедь на тему Деяний. Если она не начнется, то в день внезапного посещения не стоит искать виновных. Так в Багдаде и кричали глашатаи: «Слушайте и не говорите, что вы не слышали».



# МОДА НА ЧТИВО



**Е**СТЬ множество вещей, разрушающих человека. Среди них мода. Она — не вирус и не ядерный взрыв, но навязывает человеку представление о самом себе. То есть ты, например, имеешь представление, что тебе к лицу, а что нет, как нужно выглядеть в той или иной ситуации. А мода насильно требует зауживать брюки или делать их клешем, бриться налысо или заплетать сотни косичек и т.д. И вот ты уже стыдишься своего естественного вида, чувствуешь себя белой вороной и худо-бедно пытаешься приспособиться к восторжествовавшему вкусу. Но вкус недолговечен. Как ураганный ветер, несколько раз в год новые модные веяния сметают прежние и заставляют людей то рыться в бабушки-

ных сундуках, то напяливать на себя что-то «ультра». Дело вовсе не в одежде, а в том, что человеку прививают понятия о красоте по три раза в год, и в конце концов может оказаться, что само слово «красота» потеряет смысл для человека.

Подобные эксперименты раньше устраивали революционные правительства. Они меняли названия дней недели и месяцев, передвигали календарные даты, выдумывали новые праздники. Отсюда все эти брюмеры и термидоры у французов, новые имена, рожденные советской властью, вплоть до абсурдных — Даздраперма (да здравствует Первое мая) или Оюшмильд (Отто Юльевич Шмидт на льдине). Вы улыбнулись? Но этот смех стоил крови и слез тем, кто жил в сумасшедших 1917–1918 годах. А все эти новшества — с целью раскачать устоявшийся внутренний мир человека. Сегодня же этим занимаются совершенно другие люди, навязывая обществу новые непривычные идеи, вкусы. Бредовый коммунизм вернулся в виде современного либерализма. Человек становится вменяем для кукловодов. Он быстро соглашается, что вчерашнее гадкое сегодня красиво, вчерашнее



глупое сегодня не лишено смысла. Из таких людей — лепи что хочешь.

А моды бывают разные. Есть, например, мода на чтение. Стоит появиться какой-нибудь раскрученной книжонке, как ее до дыр зачитывают даже те, кто кроме газет уже ничего не читал со времен окончания школы. Кто сегодня не слышал про «великого писателя современности» Паоло Коэльо? Спросим себя, откуда выросла известность этого человека? Неужто все его читатели искушены в области латиноамериканской литературы? Если бы они читали Маркеса или Кортасара, то вряд ли бы после первой книги Коэльо прочли бы вторую. А если они не читали ни Маркеса, ни Кортасара, то чем так велик Коэльо, обскакавший всех латиноамериканских грандов?! Мо-да, господа.

Литература, написанная о Гарри Поттере, превосходит, наверное, тиражи «Гарри Поттера». И что мы видим? Неужели действительно гениально? Я думаю, та же мода. Коммерческий проект. Раскрутка. Человеку, может быть, стыдно в ответ на вопрос «а вы читали?» выпасть из социального контекста, пожать плечами, промямлить «нет». И это

не что иное, как тяжелейшее рабство и гнуснейшая зависимость миллионов людей от кем-то сформированного общественного мнения. В XIX веке Россия зачитывалась французскими романами. В.В.Розанов, отвечая на вопрос, каково его отношение к Золя, говорил: «Я не читал, но мне не нравится». Позиция несколько дерзкая, ерническая, как все у Розанова, но внутренне очень свободная.

Или, к примеру, нашумевшая книга «Код да Винчи». Вначале захватывает, на первой трети книги понимаешь, что байка, а в последней трети добираешься до самого главного. Вся книга — лишь обрамление одной ключевой главы, в которой устами некоего профессора озвучивается антихристианский и антицерковный пасквиль и формулируются основы «религии будущего». Христос якобы имел жену и детей, вера в Его Божество якобы была авторитарно утвержденной идеей, Церковь якобы веками лжет, хотя втайне знает некую правду. И ладно бы возникло это впервые. Так нет же, идеи стары как мир. В каждую эпоху были их адепты и проповедники. И клюют на них люди

неглубокого ума, пусть даже обширных знаний. Это как бы формирование широких слоев, «сочувствующих» будущему мировому порядку, создать который нужно на развалинах христианства. Издание таких книг большими тиражами — вещь совсем не безобидная. Это — зондирование почвы, индикатор массовой безблагодатности. А вы небось думали, что, проглотив бестселлер, оказались на гребне мировой цивилизации? Поверьте, первыми над вами посмеются те, кто написал бестселлер.

Тебя почти за шиворот подтаскивают к помойному корыту, заставляют из него хлебать, ты хлебаешь, преодолевая позывы рвоты, смотришь направо и налево на длинные шеренги подобных тебе, и вы друг другу улыбаетесь. Подмигиваете: дескать, вкусно, да? Мы на вершине. Мы приобщились к культуре. Это, по-моему, фотопортрет потребления современных «гениальных» опусов в мире литературы и искусства.

Становится понятной гениальная прозорливость Оптинских старцев. Они до революции предсказывали время крайнего смещения понятий и советовали привить

молодым людям вкус к хорошей музыке, живописи, литературе для того, чтобы хороший вкус стал противоядием против грядущей пошлости.

Пошлость пришла, нагрязнула. А с противоядием — проблемы. Миллионы людей научили читать, но не научили выбирать чтение, для миллионов людей видеокассеты доступны, но умение выбирать из навоза жемчужину — нет. Как ни была страшна безграмотность, нынешняя грамотность при отсутствии веры и вкуса — еще страшней.

Это, может быть, для XIX века чтение Тургенева или Вальтера Скотта могло не поощряться духовниками и быть признаком духовного упадка человека. Сегодня это признак подъема и знак того, что внутренний мир человека обогащается и шлифуется. Думающим трудней манипулировать, знающего труднее обмануть.

Люди и так будут читать книги в печатном и в электронном виде, будут поглощать музыкальную и видеопродукцию в таких объемах, в каких завтракает Гаргантюа. А значит, надо воспитывать читательский и зрительский вкус, надо делать людям прививку

от пошлости так же регулярно и настойчиво, как делают прививки от скарлатины в детских поликлиниках.

Кроме вновь издаваемых книг и выходящих на экраны фильмов в мире есть множество «новых» вещей, неизвестных потребителю. Всякая книга, которую вы не читали, для вас — новая. Всякий фильм, который вы не смотрели, — тоже, как ни странно, новый. Поэтому как было бы приятно подслушать в метро или кафе следующий диалог:

— Глянь, какую я новую книгу купил — Данте, «Божественная комедия». Читал?

— Нет. Я еще свою новую «Илиаду» дочитываю.

Важно понять, что у Бога нет мертвых. Книги, оставшиеся нам в наследие, — это как бы телеграфный провод, способ общения с теми, кто их написал. Человек — это современник всех людей, которые когда-либо жили и будут жить на земле. Вспомните, если вы видели фильм «Тот самый Мюнхгаузен», следующую сцену: Мюнхгаузен хочет развестись и жениться на Марте. По этому поводу он спорит со священником и говорит: «Сократ сказал мне однажды: “Женись. Попадет-

ся хорошая — будешь счастлив, попадетсЯ плохая — будешь философом”». Всех, конечно, шокирует это заявление барона о дружбе с великими людьми древности. Но Мюнхгаузен абсолютно прав. Сократ, Шекспир, Джордано Бруно — те, с кем дружил барон, могут дружить и с нами, они наши современники. От нас зависит, кого и из какой эпохи избрать себе в собеседники. Зауживать свои безбрежные возможности до краткого мига современной жизни, и даже не жизни, а мышинной возни, — это предательство по отношению к своему призванию и грех перед лицом вечности.

Дружбе с Гоголем можно пожертвовать массу суетных и мелких увлечений. Точно так же дружбе с любым другим великим человеком. Проветривать мозги воздухом иных эпох полезно еще и потому, что это именно человеческое общение с людьми прежде жившими. Мы понимаем их не потому, что носим одну одежду и слушаем одни и те же новости. Как раз нет — нас по-разному учили, мы очень многим отличаемся, а если понимаем друг друга, то, значит, понимаем на глубоком сердечном уровне.

Нельзя искать друзей среди тех, кто будет слушать тебя с открытым ртом. Нужно искать людей, которые мудрее тебя, нужно иметь желание сидеть молча у их ног или обивать их пороги. Желание и умение учиться есть признак мудрости. Вот почему, опять-таки, нужно спрашивать у тех, кто был прежде нас.

Из всего того, что нужно человеку, главное то, что человеку нужен человек. Не безликое «мы» и не диктатура большинства над меньшинством должны руководить нами, а во всем и везде нужно устремляться за благоуханием личности. Не читайте в пресс-релизах или рекламных анонсах о том, что стоит почитать и посмотреть. Спросите, какую последнюю книгу читал человек, который в ваших глазах умен, глубок, правилен. Если уж к чему-то прислушиваться, то не к безликому шуму, а к внятной речи того, кто лучше нас.

\* \* \*

Пицца тем лучше, чем тоньше в ней тесто. А человек тем хуже, чем тоньше его личный культурный слой.

\* \* \*

Тонкий культурный слой — это неспособность и невозможность, а главное нежелание пускать корни. Не в том, конечно, бытовом смысле, как это часто понимается: пристраивание дома к дому, обрастание связями, поиск влиятельных друзей и прочее. В этом смысле человек без корней очень энергичен и часто успешен. Но эта деятельность есть именно то, о чем поется во втором антифоне литургии, то есть в псалме 145-м: *Изыдет дух его и возвратится в землю свою. В той день погибнут вся помышления его.*

Непоседливая активность требует не памяти о прошлом и не тревоги о будущем (что и есть культура). Она требует жадного внюхивания в воздух момента. По сути требует звериного чутья и метафизического безразличия ко всему, что нельзя намазать на хлеб. Я говорю не о ней.

\* \* \*

Человек глубокий похож на море. Человек неспешный и основательный похож на большое дерево. В море живут рыбы, а в ветвях дерева укрываются птицы.



Человек тонкий, тонкий, как тесто в хорошей пицце, похож на мох. Птицы в нем от непогоды не спрячутся. Его или олень съест, или человек соскоблит ногтем от нечего делать. Его и жалко, но и помнить о нем долго не получается. *Изыдет дух его и возвратится в землю свою...*

\* \* \*

Если человек лично глубокий или принадлежит к культуре серьезной и основательной, то совершенно невозможно предугадать те ходы и те слова, с которыми надо с ним начинать разговор о Христе. Зацепить такого человека могут слова, которые нам хорошо известны, но нас лично никак не трогают. Так, знакомый рассказывал о друге-мусульманине, уверовавшем во Христа после прочтения длинного родословия в первой главе Евангелия от Матфея. Что он там нашел? Чему поразился? У нас дьяконы и священники как наказание читают этот длинный перечень накануне Рождества. А он, воспитанный на уважении к отцу и к отцу своего отца, понял, что в Евангелии все очень серьезно и очень не случайно. Имена говорят о том, что эта история

долго отслеживалась, записывалась, осмысливалась. Она долго приуготовлялась. Ей можно доверять!

\* \* \*

Конечно, родословие — это Ветхий Завет в лицах. За каждым именем — личность, а за каждой личностью — драма греха и покаяния, борьбы и усталости, драма ожидания Мессии. Но даже на уровне начального знакомства ей, оказывается, можно удивиться.

Теперь фразу эту произнесем иначе: удивиться можно, но не каждому. Нужно иметь за душой нечто, чтобы приходить в веру там, где другие просто проходят мимо. Хотя есть и другие пути. Не зря же произнесено святым Павлом предупреждение против *родословий и басней бесконечных*.

\* \* \*

Или вот новелла из «Декамерона», которую цитировал покойный митрополит Антоний (Блум). Это же гимн нестандартному мышлению! Там дружат еврей и христианин. Последний склоняет еврея к вере, а тот говорит, что не иначе примет решение, как только

посетив Рим. Но тогдашний Рим утопал в том разврате и той роскоши, в ответ на которые пришла Реформация. Христианин, соответственно, друга от поездки отговаривал. Еврей все же поехал. А вернувшись, объявил о желании креститься. Удивлению и радости друга не было предела. Но потом начались расспросы: почему? Как додумался? Еврей честно рассказал, что слышал и видел многое. Многому поразился. Представители духовенства ведут себя часто так, словно они — враги веры. А на главного врага веры похож его величество папа. «Так почему же ты хочешь креститься?!» — был недоуменный вопрос. «А потому, что если бы с вами не было Бога, то при таких начальниках вы бы давно исчезли. А вы не только не исчезаете, но даже и умножаетесь. Ваша вера не человеческая. Она от Бога». Таков был ответ.

Это ответ человека, для которого прошлое — не пустой звук, а будущее — не синоним густого и непроглядного тумана. Мастера дзен-буддизма после именно таких диалогов достигали своих прозрений и озарений. Они бы не постыдились тому еврею из книги Боккаччо ноги помыть, потому что он мыслил во-

преки мелкой логике, сверхлогично. Говорю это нарочно, потому что к евреям у нас отношение известное, а мудрецов Востока уважают даже очень. При этом дзен-буддисты проходят сложные практики, чтобы расширить сознание и вырваться из мертвой хватки бытовой логики. А этот мелкий торговец никаких практик не проходил. Ему сверхлогичность досталась в наследство в виде генетической памяти о непредсказуемом Боге и неисчерпаемости бытия.

\* \* \*

Кто будет верить, если море обмелеет, а деревья рухнут, поваленные ветрами? Кто будет верить, если останется только мох, который некому есть, поскольку и олени вымерли, а люди не скребут по камням ногтем от нечего делать?

\* \* \*

Достоевскому было достаточно из всего Евангелия одного рассказа о трех искушениях в пустыне, чтобы глубоко прочувствовать: есть Бог, есть сатана, есть между ними борьба за человека и все в Библии — правда.

Но кто такой Достоевский? Он дерево или море? Нет. Он — лихой бандит из эпохи 90-х или белогвардеец из фильма про Чапаева. Вам об этом любой школьник скажет.

Хотя нет. Какие могут быть белогвардейцы, если Бетховен — это собака, а Моцарт пишет рингтоны для мобилок? Достоевский — это имя одного из ураганов, которым раньше давали только женские имена. Теперь женские имена кончились, ураганы от глобального потепления умножились и одному из них дали имя Достоевского. Я так говорю, потому что один мой друг от этого урагана пострадал. Ему крышу снесло. Пришел ко мне (или я — к нему) с главой «Русский инок» и плачет. «Это что, — говорит, — здесь все — правда?» Спать перестал, только читает и плачет. Полное несогласие с духом мира, который на всех языках, включая медицинский и матерный, запрещает серьезно относиться к серьезной литературе. Но где он теперь? Я не знаю. Наши пути разошлись. И чего ждать от будущего, если даже его, человека тонкого и глубокого, со временем закрутил и куда-то унес другой ураган. Наверное, с женским именем.

\* \* \*

Чтобы пицца была тонкая, ее надо вертеть в руках, как клоун делает в цирке, вертя тарелку на кончике пальца. Человека тоже нужно вертеть и крутить, утончая уровень душевной вместимости до такой степени, чтобы события десятилетней давности казались седой древностью.

\* \* \*

В каком-то фильме тетя, всего лишь на пятнадцать лет старше племянницы, уговаривает ту не связываться с молодым мужчиной, который тоже старше племянницы примерно на столько.

Тетя говорит: «Вы из разных эпох. Когда он был маленький, ему нужно было встать с дивана, чтобы переключить программу по телевизору».

Племянница делает круглые глаза и спрашивает: «Зачем?»

Тетя с видом человека, нашедшего в пустыне пресную воду, выпаливает: «Пульты не было!»

Племянница продолжает потухшим голосом: «Ты откуда знаешь?»

Тетя победным голосом: «Мы с ним одного возраста».

\* \* \*

Вот так. Была эпоха мученичества и эпоха Вселенских Соборов. Были эпохи кругосветных путешествий и фундаментальных научных открытий. Были эпохи крушения колониальной системы и освоения космоса. Были.

Теперь остались эпохи мобильной связи, телевизионных пультов и зубных щеток на батарейках. И трагический фарс обмельчания в том, что все эти ничтожные отрезки времени действительно воспринимаются как эпохи.

\* \* \*

Иной раз подумаешь: «Вот жили люди, и было их мало. Но были они сильны и умны, тверды и могучи, как скалы. Потом они плодились и множились, жили и грешили, и бывшие скалы со временем превратились в горы щебня. Раздробились, изменились в качестве. А теперь каждому камушку щебня предстоит превратиться в каменную крошку, ну а затем в пыль. И уже бывший щебень кажется осколком скалы, настолько много вокруг мелкой

крошки. Скоро и крошка покажется камнем, настолько много станет пыли. Но в конце концов пыль заменит собою все, только она останется. Ветер развеет ее. Это и есть конец».

\* \* \*

Скалу можно взрывать или крушить кайлом. Щебень можно трамбовать и насыпать куда надо. Но что делать с пылью? Она вездесуща. Она набивается в нос при ходьбе и оседает на плечах одежды. Ее можно стряхивать и пылесосить, ничего более. Крайнее измельчение — признак полной бесполезности.

О волах ли печется Бог? Пылью ли мы интересуемся? Человек в поле нашего интереса. И есть у Церкви сегодня особенная задача, особенная миссия, отличающаяся от прямого свидетельства. Это культурная миссия, призванная не дать человеку обмельчать. Не дать ему обмельчать до такого критического состояния, что с ним невозможно будет говорить на темы серьезные, вечные.

\* \* \*

И тема эта трудна, почти неподъемна. Особенно если толком не знаешь, что делать,



а только ставишь диагнозы эпохе. Вот так, удобно севши напротив окна и, кстати, в пиццерии. Тесто здесь делают тонкое. Оттого и пицца хороша. Она всегда хороша тем более, чем тоньше тесто. А человек — наоборот, в отношении культурного слоя, соответственно.



# ДЫХАНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ



**Т**ВОРЧЕСТВО — дело тонкое. Заглянуть в лабораторию гения, препарировать его труд, разложить его на молекулы невозможно. И все же, если речь идет о создании шедевра, одна аксиома очевидна: вдохновение — необходимое, но не достаточное условие.

В своем первичном значении еврейское «руах» и греческое «пневма» имеют вполне материальное значение. Это — «дыхание» или «дуновение», то есть некий процесс, связанный с движением воздуха. Со временем эти термины прочно связались сначала с действиями Бога, а затем с Личностью Утешителя, «Иже от Отца исходящаго». Именно так мы понимаем выражения «Руах Элогим»

и «Агиос Пневматос», то есть Дух Божий и Дух Святой.

В русском языке слово «дыхание» — со своим изменчивым корнем «дух-», «дых-», «дох-» — используется совершенно аналогично языкам библейским. Это и имя Божие — Дух Святой; это и дыхание живого существа; это, конечно, и вдохновение.

Сама лексическая близость вдохновения к Духу Святому влияет могущественно на носителей нашего языка, и творческое действие, действие «по наитию», рассматривается у нас очень часто как некая «блаженная одержимость». Как говорится:

Служенье муз чего-то там не терпит.  
Зато само обычно так торопит,  
что по рукам бежит священный трепет  
и несомненна близость Божества.

В пользу подобного понимания природы творчества есть тысячи аргументов, спорить с которыми незачем. Есть только одна серьезная ремарка, и касается она тех, кто с пренебрежением относится к учебе и труду, а весь центр тяжести переносит на то самое «вдохновение»; «наитие», «нашепты-

вание на ухо» и «священное рабство у высших сил».

Всякий не лишенный напрочь эстетического чувства человек находит удовольствие, и даже больше — наслаждение, видя работу мастера. При этом может показаться, что музыкант играет так легко, так одновременно и виртуозно, и естественно, что родился он не иначе как во фраке и со скрипкой в руках. И только близкая дружба с маэстро, или знание закулисной изнанки, или же личная причастность музыке открывают человеческому взору изнурительный, титанический труд гения.

Точно так же самое приблизительное знакомство с другими видами творчества заставляет человека, сей предмет изучающего, взяться за голову. Оказывается, писатели могли переписывать одно (причем масштабное) произведение десятками раз. У некоторых работа останавливалась на месяцы из-за отсутствия одной нужной фразы в абзаце. И эти месяцы они проводили в мучительных поисках нужных слов. Непосвященному человеку это может показаться признаком психического расстройства: «Надо же! Слов человеку мало!»

Совершенно прав Маяковский, сказавший:

Поэзия — вся! — езда в неизвестное.  
Поэзия — та же добыча радия.  
В грамм добыча, в год труды.  
Изводишь единого слова ради  
тысячи тонн словесной руды.

Речь здесь идет не только о требовательности художника к своему творению, но и о готовности к чрезмерным усилиям. Дело творчества не сводится к одному лишь «наитию» и «горнему посещению».

Конечно, вмешательство из другого мира в процесс творчества есть. Если бы его не было, поэзия, искусство вообще стали бы тем, чем их хотели видеть различные «цеховики» от культуры, то есть ремеслом. Не было бы и той пугающей немоты, которая на долгие годы овладевала многими и которой так боются истинные поэты.

Толчок к творчеству можно сравнить с зачатием. Есть много женщин, чье чрево бесплодно, несмотря на то что им известна мужская ласка. Очевидно, не все здесь зависит от человека, но к любви двух должно примешать

ся благословение Третьего. Это знал Иаков, который в ответ на Рахилино «дай мне детей!» отвечал в сердцах: «Разве я — Бог?» Точно так же для творчества не хватит механически добавленных друг к другу эрудиции, свежести чувств, ума, сильного желания. Нужно «еще что-то», которое всегда — тайна и без которого творческий процесс заканчивается, как в детских стихах: «Не хватило мне чернил, и карандаш сломался».

Поскольку поборников первенствующей роли вдохновения всегда больше, чем упорных тружеников, вернемся к правоте последних.

Нужен труд. Те, кто живет через стенку с оперным певцом или пианистом, знают — их соседи редко остаются без дела. Конечно, никто, пребывая в здравом рассудке, не станет утверждать, что стоит ему взять в руки кисть художника, или флейту, или резец скульптора, как тут же от его усилий родятся шедевры. Любому понятна оторопь Розенкранца и Гильденстерна, возникшая в ответ на гамлетовское «сыграйте». Им, играющим особую роль в той путанице, что воцарилась в Датском королевстве, принц протянул музыкальный

инструмент. Когда же они стали отказываться, ссылаясь на то, что не учились музыке, Гамлет пристыдил их, сказав, что он сложнее какой-нибудь дудки, однако на нем они пытаются играть.

У всех видов искусства есть заслоны и границы, черту которых не пересечет человек, совсем ничего не умеющий в данной области. Бедной поэзии повезло меньше всего. Любой, кто умеет читать и писать, ощутив себя «избранником небес» и «любимцем вдохновения», начинает лепить слова и строчки друг к дружке в полной уверенности, что после движения шариковой ручки по листу на бумаге остается нетленное произведение.

Ситуация только ухудшается, когда предметом поэзии становятся сюжеты и темы Божественные. Тогда к «оправданию вдохновением» добавляется «оправдание тематикой» и ситуация грозит стать неисцелимой.

У Р.М.Рильке есть ряд писем «Молодому поэту», которые под этим названием были опубликованы как отдельная книга. Стоит прочесть ее тем, кто чувствует в себе призвание к поэзии. (Вообще нужно учиться до

закипания мозгов и душевного изнеможения — это я боюсь повторять часто, дабы не надоест.)

Среди множества глубоких и удивительных подсказок там есть совет не браться до времени за темы всеобщие, например за тему любви. Подобные темы — самые сложные и требуют уже не пробы пера, а настоящей самобытной силы и выкованного стиля. Я лично хотел бы, чтобы этим советом воспользовались люди, пытающиеся писать стихи о Боге, поскольку тема Бога в поэзии неизмеримо сложнее и ответственнее «темы любви».

Не все мэтры так внимательны и тактичны в обращении с начинающими поэтами, как Рильке. Мандельштам, например, мог выгнать вон из редакции молодую «непризнанную гениальность» и еще, выбежав, вдогонку кричать: «А Андрея Шенье печатали? А Иисуса Христа печатали?» Так что лучше, по совету Спасителя, сесть пониже самому, чем дожидаться, пока тебя «попросят» с занятого места.

И физически, и хронологически наше поколение появилось и «после», и «благодаря»



поколениям предшественников. Чтобы сказать нечто новое, нам необходимо кропотливо и упорно, бережно и внимательно изучать все, что было создано до нас. В противном случае разговор о творчестве невозможен.



# ВОСТОРГ И ЗАВИСТЬ



**ПАТРИАРХ** Грузинский недавно порадовал даже тех, кто грузином не имеет чести быть. Он и раньше радовал свою паству обещанием быть крестным у многих новорожденных малышей. А теперь он обратился к своему народу с предложением-просьбой читать в течение недели определенную книгу, с тем чтобы в конце недели обсуждать прочитанное и общаться с паствой на заданную тему.

Восторг и зависть — вот имена тех чувств, которые мною овладели при знакомстве с этой новостью. Видит Бог, я не завидую другим народам, когда те строят самые дерзкие мосты и самые высокие небоскребы. Но в этом случае я завидую грузинам. Завидую

той завистью, которой не стыжусь и которую не понесу на исповедь. Только вот вопрос: а мы когда дорастем до таких событий?

\* \* \*

И Россия, и Украина настолько территориально и количественно велики, что одному человеку — пусть даже облеченному высшей церковной властью — вряд ли возможно давать такие «домашние задания» многомиллионной пастве. Эта работа более соответствует домашней атмосфере небольшого народа, который сплочен уже потому, что малочислен. И если в таком народе есть духовный вождь, которого любят, то ему удобно по-свойски, без пафоса, как дедушка — внукам, дать добрый совет или высказать некое пожелание, как тут же бо́льшая часть народа бросится это пожелание исполнять. (Все никогда не бросятся, как бы ни был хорош и сплочен народ, что надо знать заранее.) У больших же народов большие проблемы. У них то, что сказал Патриарх Грузинский, должен говорить каждый епархиальный епископ, поскольку и паства отдельных наших епархий по количеству сопоставима с паствой Патриарха Илии.

\* \* \*

Что же практически для этого нужно? Не очень много духовных вещей, если они уже есть, и очень много, если их нет. Поскольку приобретаются эти вещи очень не просто.

\* \* \*

Первое. Владыка должен иметь авторитет у паствы. То есть, если он скажет: «Дорогие жители города N. и N-ской области, возьмите с полки “Мертвые души” Гоголя, и в следующую пятницу я поговорю с вами на тему первой главы», то нужно, чтобы его слова слышали все и исполнили с радостью те, кто услышал. Иначе это будет местная акция, подобная стрельбе из пушки по воробьям. Многие, предчувствуя фиаско, за нее и браться не будут.

\* \* \*

Второе. Владыка должен быть подготовлен к подобному не столько литературоведческому, сколько духовному труду. Ему придется засесть за книги, уплотнить график (и без того обычно плотный), чем-то пожертвовать, начать вести конспекты. Причем

никто не заставляет читать непременно Гоголя. Это я сказал к слову. Можно читать «Лествицу» или авву Дорофея, то есть те духовные книги, знакомство с которыми пастве необходимо. Не в книге дело. Книг хороших много. Дело в желании сдвигать горы закостенелости и невежества, которым удобно стоять столетиями на привычных местах, претендуя на статус местной традиции.

\* \* \*

Третье. Смелость. Такие труды и инициативы древностью не освящены. Не было раньше таких трудов и инициатив. А значит, найдется немало критиков и противников не только из числа чужих, вечно готовых пыхтеть и ерничать, но и из числа своих, временами пыхтящих и ерничających не хуже врагов. Для плодотворного действия во Христе и ради Христа всегда нужна смелость. Смелость, знания и желание. Вернее, если расположить требования в порядке очередности, то: 1) желание; 2) знания; 3) смелость.

Если все это есть, то ничего больше не надо. Можно начинать. Но если нет их, то значит ничего нет и еще долго не будет. Желание по-

является таинственно, знания приобретаются долго, а смелость вообще непонятно откуда берется. Вот я и говорю, что грузинам я завидую той завистью, которую на исповедь не понесу.

\* \* \*

А вообще-то надо учиться. Причем — у всех. У арабов говорят, что «чернила ученого так же драгоценны, как кровь мученика». Вчитайтесь в эту фразу. И какая мне разница, что это арабы сказали, а не русские? Если сказано верно, то я запомню и постараюсь мысль в жизнь претворить. Пусть грузины начнут, а мы подхватим. Мы ведь не на перегонки бежим, а общее дело делаем. Пусть другие еще что-нибудь доброе начнут, а мы подсмотрим и переймем. Умение замечать доброе и учиться есть высшая похвала любому народу. Похвала и благословение. Поэтому, не имея чести быть грузинами, подходите к книжным полкам. Берите «Илиаду», «Робинзона Крузо», «Собор Парижской Богоматери». Начинайте читать что-нибудь хорошее, и будем ждать, что найдутся вскоре и те, кто начнет с нами обсуждать прочитанное.

# ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



**В**ЕЛИКАЯ литература в России — это незаконнорожденный плод молчащего духовенства. Если бы не появилась литература (та самая — великая русская), то, очевидно, пришлось бы камням завопить. Или — народу умереть от немоты и неестественности. Третьего не вижу. То, что уже сказано, тянет на предисловие к диссертации.

Великая русская литература (далее — ВРЛ) по преимуществу глаголет о людях, сидящих на месте аки гриб; или о людях, путь творящих то с целью, то без нее.

Без цели у нас путь творят те, кто сознательно ничего не пишет, — юродивые, странники, Божьи люди или «косящие» под последних. Те же, что письму обучены, путь творят наме-

ренно, вооруживши глаз лорнетом (фотоаппаратом), а десницу — пишущим инструментом. Примеры: Карамзин — в Европу, Радищев — из одной столицы в другую.

Пушкин путешествует в Арзрум, хотя мечтает о берегах Бренты. Гоголь мчится на тройке едко улыбаясь из окошка, и Ерофеев никак не доедет до Петушков. Чехова беспокойная совесть на Сахалин несет, и даже Ильф с Петровым пересекают на корабле океан и строчат фельетонные отчеты об Америке в один этаж ростом. Все, кто может думать, умеет писать и способен пересекать государственную границу, пишут, мыслят, анализируют, рефлектируют. Вот одно из мощных крыльев той птицы по имени ВРЛ (расшифровку читай выше), что долетит и до середины Днепра, и весь его перелетит не запыхавшись, и дальше путь продолжит, зане в небесах нет ни ГАИ, ни светофоров. А только их и боятся русские путешественники.

Но кто же те, кто на месте сидит аки гриб? Это жители обветшавших поместий, старые, добрые и смешные люди, думающие и говорящие не иначе как по-старому. Вся остальная ВРЛ сообщает нам о происшествиях внутри



помещичьих усадеб. Там гоголевские старики спрашивают друг дружку, не поест ли им грушек? Там Онегин «на бильярде в два шара играет с самого утра». Там Базаров с Кирсановым-младшим путешествуют из одного поместья в другое, приближая неожиданную развязку романа. В эти усадьбы постоянно входит и въезжает Бунин, обоняя сладкую смесь ушедшей эпохи и обреченности. Там на стенах бумажные обои, в кабинетах — кипы неразрезанных (!) книг. Там у нечищенных прудов стоят скамейки, помнящие шепот признаний. И не забыть бы Коробочку с Маниловым и Собакевичем! Не забыть бы!

Короче. Если главный герой или (и) автор не мчатся по дорогим для них местам, то они живут оседло вплоть до героев Чехова, Островского и Горького; обедают в урочный час и говорят, говорят, говорят... Вдохновенными перстами, так сказать, дерзают прикасаться к нервам мира.

ВРЛ действительно велика. Но городскому быту в ней не место, и это ее (ВРЛ) грех. Есть место в ней путешествиям в карете, на пароходе, подшофе — в электричке. Есть место спорам на террасе, объяснениям в саду,

семейным ссорам при свете керосиновой лампы, когда прислуга спит. Но горожанин вытеснен, пренебрежен, не допущен во святилище лучшей в мире литературы. Как не озлобиться Раскольникову? Как Ипполиту не харкать кровью прямо на глазах у дам и не манкировать неумолимой смертью?

А что же ныне? Помещиков боле нет. Их быт разрушен до того основанья, за которым в старом гимне стоит слово «а затем». Значит, литература наша, как вырождающийся отпрыск благородных кровей, остается при одних путешественниках. Наш горожанин так и не залазит в литературу, по крайней мере — в ВРЛ. Он залазит в советскую «пикареску» под видом Остапа Бендера или Бени Крика. Он залазит в окопы фронтовой литературы. Он стоит за станком заказной пошлятины на темы трудового героизма. Он окончательно сходит с катушек в атмосфере богемы и модерна (одинаково дешевых, надо добавить). Еще он сидит в тюрьме (он там оказался прямо с барских задворок) и прокликает земной ад устами Шаламова или вещает нечто устами Солженицына. Но талантливо и прозорливо, достойно прежних образцов он в ВРЛ

не залазит. А ведь так не должно быть! Ведь лицо современного жителя земли — это лицо горожанина. Это довольно усредненное лицо существа, могущего говорить на разных языках, но мыслящего на любом языке довольно похожими категориями. И его нужно очеловечить средствами самого гибкого и самого неподатливого языка! Ух и задачу мы откопали, случайно ковыряясь лопаткой в песочнице!

Значит, нужно искать героя. Искать, чтобы мир не умер от немоты и чтобы камням не пришлось разговаривать. А до того как герой найдется (с подводной лодки ему деться некуда), нужно отрабатывать первую часть ВРЛ, а именно — путешествия. Сентиментальные ли карамзинские или пафосно-обличительные радищевские, может, даже игорно-рулеточные и одновременно профетические — достоевские... Пусть растут все цветы, включая ерофеевские, за исключением выпитого. Нужно не дать ей умереть. Ей, это — русской речи, которая (о! диво) чудотворно живет посредством воплощения даров, потенциально в ней находящихся. Даров, которые лучше всего было бы являть с кафедры и амвона. Но поскольку

*Великая русская литература*

ку те, от которых это зависит, могут не понять, о чем здесь сказано, ей нужно жить иначе — посредством «говорящих камней». То есть всех творящих литературу и кормящихся от нее, обязанных своим бытием только одному факту нашей духовной истории, а именно — молчащему духовенству.



# РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ



**НАИБОЛЕЕ** распространенные в мире языки выделить нетрудно. Это, конечно, китайский — по причине огромного количества людей, считающих его родным. Это арабский, поскольку он есть язык динамически развивающейся и распространяющейся религии. Это испанский, на котором, учитывая диалекты, говорит без малого целое полушарие, за что отдельное спасибо католическим миссионерам. Это, конечно, английский, который выполняет в мире ту же функцию, что койне в эпоху эллинизма или русский — в СССР. Сегодня это — язык международного общения, в основном коммерческого и научно-технического. И это — русский.

\* \* \*

Русский язык не язык коммерции. Для этих целей он сам напичкан англоязычной лексикой. Он так же не является родным языком для мировой религии, как арабский или иврит. Для собственных богословско-христианских целей русский язык принял в себя множество греческих и латинских терминов. Что и правильно. Количесвом мы подобно китайцам никого не пугаем и не удивляем. Здесь спорить не о чем. Что же такое в мире русский язык и в чем его ценность? Не язык всемирных колонизаторов, не язык всемирных торговцев, не язык новых религиозных откровений, он есть язык особенной культуры, в центре которой — русская литература. В этом его всемирное значение.

\* \* \*

Данная черта сближает русский с французским, с той лишь разницей, что франкофоны существуют в мире также благодаря долгому колониальному периоду. В Сенегале, Вьетнаме и на Таити французский учили не ради наслаждения Расином, а потому, что французский колонизатор повелел. А вот

в России со времен детей Петра Великого французским увлекались из чистого наслаждения культурой и без всякого желания подпасть под политическую зависимость. Точно так же сегодня и русским в мире наслаждаются.

\* \* \*

Русский язык есть язык великой русской литературы, которая сама есть дитя Евангелия и Церкви Христовой в самом широком и свободном понимании этого огромного термина.

Обобщая исторический путь, мы можем выделить Русь Киевскую, Московскую, петровскую, советскую и постсоветскую. Литература, без сомнения, началась вместе с верой и письменностью в Руси Киевской. Но там она не развилась, как не развилась и в Московской. Литература у нас развилась и стала мировой после Петра и его торнадообразных перемен. С тех пор и (надеюсь) донныне история Руси связана с литературой неразрывно и в некоторой степени является собственно историей литературы. Чтобы проиллюстрировать себе эти слова, вспомните, как повлиял на жизнь

мира такой человек, как Владимир Ульянов (Ленин), а потом вспомните, сколько десятков раз он прочитал книжку Чернышевского «Что делать?» Сначала Руссо влияет на Толстого настолько, что вытесняет с груди молодого графа нателный крестик собственным портретом. Потом Толстой влияет на страну и весь мир вплоть до превращения в зеркало русской революции.

\* \* \*

Значение литературы выросло в Петровскую эпоху. Это значение не упало, но специфически, хоть и однобоко, выросло в советскую эпоху, потом на инерции держалось в переходные периоды и стало замирать только в новейшие времена с тенденцией к возрождению (ура!) в последние часы и минуты, если говорить образно. Нам не понять свою историю и не разобраться в ней, если мы не разберемся в своей литературе: в религиозных корнях ее, в ораторских успехах революционеров, в гражданском пафосе лучших писателей и прочем.

Типография и газета вряд ли в какой-то еще стране, кроме России, имели такой



разрушительный потенциал, и в этом тоже стоит разобраться. Лекарство не лечит, если не может отравить, и то, что успешно разрушало, способно успешно созидать.

\* \* \*

Когда народ собирается с мыслями, а власть бесчувственна к его тихому труду, то это чревато со временем восстанием масс. Когда власть жжет по ночам свет в кабинетах и думает, думает, а народ думать ни о чем, кроме потребительской корзины, не собирается, то это тоже беда. Хорошо, когда проблему чувствует и стоящий наверху, и гуляющий у подножья. Поэтому путинская речь на Российском литературном собрании в ноябре 2013 года — симптом бодрящий.

\* \* \*

«Даже если, — говорит Владимир Владимирович, — снижение интереса к чтению, к книгам является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим смириться».

Толстой и Достоевский — большее наше богатство, нежели нефть и газ, поскольку нефть и газ лежат у нас под ногами без нашего

труда, а писательский гений вынашивается в недрах народного сознания. Если угодно, это наши опознавательные маркеры, знаки нашего присутствия в мировой культуре. И до чего мы доехали на сегодняшний момент!

Как огромные природные богатства не мешают у нас существованию нищеты и убожества, так и огромный культурный потенциал не мешает прозябать в невежестве в полном соответствии с общемировыми тенденциями. Нехорошо.

Те девять минут, которые, согласно статистике, отдает книге в день средний россиянин, должны испугать нас своей ничтожностью. Книге хорошо бы отдавать столько времени, сколько отдается сидению за обеденным столом и ничуть не меньше, чем жертвуется телевизору.

Путин упомянул об информационных технологиях, которые явно влияют на культуру чтения; обмолвился о том, что мысль зреет и оттачивается только в работе с текстами; напомнил об оскудении бытовых запасов языка и о превращении литературной речи в исключение. Он тезисно, но емко сказал все, что должен был сказать правитель, осознающий,

какого народа, в смысле словесности, он правитель. И если бы он только критиковал, то для этого много ума не надо.

\* \* \*

Конструктив тоже был, и даже в виде штрих-пунктира он обозначает тенденции. Что же планирует государство Российское?

— Возрождение престижа педагогов-словесников.

— Содействие сохранению объединяющей роли русского языка на пространстве государства.

— Перевод на русский язык всего яркого и значимого, что появляется в литературах других народов, населяющих Россию.

— Для поддержки современных авторов — учреждение премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Премию начали вручать с 2014 года, объявленного Годом культуры. Предложено подумать над тем, чтобы объявить 2015 год в России Годом литературы.

Власть в лице президента понимает, что (sic!) рынок не всемогущ. По крайней мере, в означенной сфере рыночные механизмы са-

морегуляции бездействуют. Нужны осознанные и волевые усилия общества и власти. Предполагается создавать условия для координации усилий тех, кто трудится в «библиотеках, литературных музеях, мемориальных домах писателей».

Задачи выходят за рамки чистой сферы изящного. Среди задач:

– привлечь особое внимание общества к отечественной литературе;

– сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния России в мире;

– внутри страны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и современной литературы станут правилом хорошего тона.

\* \* \*

О чем все это нам говорит? Говорит о должных критериях величия Родины.

Петр I, которого мы похвалили за причастность к рождению нашей великой литературы, достоин и порицания. Именно с Петра мы мыслим славу России в количественных категориях внешних успехов и побед. Величие

стало описываться в терминах «построили», «полетели», «навалили», «победили». Все теплое и тихое, описываемое при помощи глаголов «пожалели», «погрустили», «раскаялись», ушло в литературу, как в подполье. По сути перед нами вопрос Владимира Соловьева, переформулированный в XXI столетии: «Какой ты хочешь быть, Россия? Россией Ксеркса или Христа?»

Верховная власть уже, слава Богу, понимает, что признаки величия подлинного связаны с поэтической строкой не меньше, а даже больше, чем с острым воинским железом.

\* \* \*

Итак, за книги! Церковь Святая, покажи пример!

Бессловесная паства не может быть христианской. А не читающий книг священник не может быть служителем Бога Слова. Если кто-то и не поймет сказанного президентом, то люди Церкви должны понять. Как евреи, вернувшиеся из Вавилона, вновь открыли для себя забытую Книгу Закона, так и мы должны открыть для себя подлинный источник народного величия — его литературу. Она не отве-

дет нас от Христа, но лишь сильнее к Нему привяжет. Стыдно, братишки, что в Принстоне и Йеле студенты ради чтения Достоевского в оригинале над русской грамматикой потеют, а наш Ваня сплошь и рядом на великом и могучем только матюгаться горазд.

Переведем-ка мы лучше мягонько девять минут для начала в десять. Потом «психанем» и десять доведем до пятнадцати. Потом выключим «ящик» и увеличим пятнадцать до семнадцати. Уже на этом этапе, который займет годик-другой, то есть на этапе увеличения девяти минут в два раза, Господь порадует нас и новыми именами в литературе, и новой благодатью в повседневной жизни, и успешным заживлением застарелых ран.



# СОДЕРЖАНИЕ

Сокровища старой Европы .....	3
Данте сегодня .....	9
«Се, стою у двери и стучу...» .....	16
Беглец от мира .....	22
Судья прошедших столетий .....	33
Обида и недоумение .....	41
Перед лицом вечности .....	54
Чичиков: тип исторический .....	61
Ревизор и журналисты .....	73
Откуда растут стихи? .....	80
Звуки небес, песни земли .....	88
Честертон, Льюис, Антоний .....	97
Новое или старое? Разговор о фантастике .....	104

Об одной цитате из Достоевского .....	111
Страсти по Андрею .....	120
Толстой .....	136
Чехов в супермаркете .....	144
Пари .....	154
«Портрет Дориана Грея» .....	162
Фрейд для православных .....	170
Танцор над бездной .....	180
Платонов .....	193
Я люблю тебя, Жизнь .....	200
Помазанные цивилизацией .....	204
Сталкер и его спутники .....	214
Нужно читать .....	222
Поклониться тени .....	230
О книгах .....	243
Как читаешь и читаешь ли вообще? .....	247
Мода на чтение .....	254
Дыханье вдохновения .....	273
Восторг и зависть .....	281
Великая русская литература .....	286
Русский язык в мире .....	292



**Протоиерей  
Андрей Ткачев**

*Беглец  
от  
мира*

Издание второе

Художник *А. Н. Шашина*  
Редактор *Т. А. Соколова*  
Корректор *Г. И. Исполатовская*  
Верстка *И. Р. Цуп*  
Технолог *М. Ю. Мыскин*

Подписано в печать 08.04.2015 г.  
Формат 70x100/32. Объем 9,5 п.л. Печать офсет.  
Бумага офс.№1. Тираж 5000 экз. Заказ № 2713  
Адрес издательства Сретенского монастыря:  
103031 г. Москва, ул. Б. Лубянка, 19  
Отпечатано с готовых файлов  
издательства Сретенского монастыря  
в АО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Интернет-магазин: [www.sretenie.com](http://www.sretenie.com)  
Книжная торговля Сретенского монастыря (495) 628-82-10  
Магазин «Сретение» (495) 623-80-46

Автор бесстрашен в подходе к избираемым темам, порой, казалось бы, табуированным. Отец Андрей никого не запрещает, но учит осмыслить, понять, без лживой правильности, без фарисейской оглядки на авторитеты.

Прочитав его очерки о мыслителях, писателях, художниках, поэтах, хочется перечитать помянутых им, а после снова вчитаться в его прекрасные тексты. Которые волнуют. Которые учат. Которые приближают к Творцу.

